ольга
мариничева

# исповедь нормальной сумасшедшей

документальный
роман

ВРЕМЯ
http://books.vremya.ru

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Понятие «тайна исповеди» к этой «Исповеди...» совсем уж неприменимо. Если какая-то тайна и есть, то всего одна – как Ольге Мариничевой хватило душевных сил на такую невероятную книгу. Ведь даже здоровому человеку... Стоп: а кто, собственно, определяет границы нашего здоровья или нездоровья? Да, автор сама именует себя сумасшедшей, но, задумываясь над ее рассказом о жизни в «психушке» и за ее стенами, понимаешь, что нет ничего нормальней человеческой доброты, тепла, понимания и участия. («"А все ли здоровы, – спрашивает нас автор, – из тех, кто не стоит на учете?" Можно ли назвать здоровым чувство предельного эгоизма, равнодушия, цинизма? То-то и оно...» (Инна Руденко).


- Ольга Мариничева
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - 
    - У профессора
    - На экране сомкнутых век
    - В Ганнушкина
    - И плюшевые звери, тебя покуда нет, поговорят со мной...
    - «Ты меня везде найдешь»
    - Тамара Георгиевна
    - В Центре
    - Сон на даче
    - Потому что они не вернулись
    - В Крыму
    - Жить – это приказ
    - Страшный Суд
    - И смех, и слезы, и любовь
    - Депрессия
    - Просто Юрка
    - Владимир Анатольевич
    - Как я была бабушкой
    - Родом из детства
    - Крестовый поход детей
    - Как чисто, как звонко мы кончимся
    - Та, Которая Есть
    - Нет и не будет
  - МЕЖДУСЛОВИЕ

- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - «...И с этим можно жить»
  - Из жизни в жизнь перелетая
  - На грани
  - «Сны о чем-то большем»
    - 1. Оратория
    - 2. Планета воды
    - 3. Хэппенинг
    - 4. «И государственные сны в ту пору снились мне» (Валентин Берестов)
    - 5. Зеленый луч
    - 6. Пока пишу – живу
    - 7. Кровавый поток
  - Мои девочки
    - 1. Бесы смешат
    - 2. Богородицы
    - 3. «Я извиняюсь»
    - 4. Анка-стриптизерша
    - 5. Натали
  - «Группа поддержки»
    - 1. «Это не ты. Это – болезнь»
    - 2. Майра улетела, Майра прилетела...
    - 3. Просто соседи
    - 4. «Да ты что?!»
    - 5. Белое безмолвие, черная тетрадь
    - 6. «Имеешь право»
  - Диагноз: капремонт
  - Несбыточный мой! Спасибо, За то, что ты есть на свете...
    -
    - Ситуация № 1. Знакомство
    - Ситуация № 2
    - Итак, ситуация № 3. Все тот же декабрь
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  -
  - Письмо из Москвы в Запорожье, 1968 год
  - До «первой крови»
  - Муляж. Имитация
  - Родники мои серебряные, золотые мои россыпи...
  - Реанимация, реинкарнация...
  - Поземка из детства
  - Пирамидки
  - Оно того стоит

- ПОСЛЕСЛОВИЕ
  - 
  - 1. Страх. Беспомощность и истинное могущество
  - 2. Любовь и помощь
  - 3. Уважение к Person
- notes
  - 1
  - 2

# Ольга Мариничева
# Исповедь нормальной сумасшедшей

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга впервые появилась в магазинах под этим же названием – «Исповедь нормальной сумасшедшей» (то была первая часть книги, которая теперь у вас в руках целиком, под одной обложкой). Но тогда на обложке стояло другое имя автора: Марина Заречная.

Почему же Ольга Мариничева, известный журналист «Комсомольской правды» (ныне она сотрудничает с «Учительской» и «Новой газетой»), вначале выпустила ее под псевдонимом? Ответ прост: ей было нелегко исповедоваться перед всеми, и знакомыми, и незнакомыми.

Когда книга готовилась к публикации, некоторые мои коллеги, признавая рукопись талантливой и необычайно острой по материалу, делились со мной своими сомнениями: а надо ли так? Стоит ли говорить о себе такие вещи? Выяснилось, что да, стоит.

Я не знаю, можно ли назвать победой над болезнью эту книгу. Но я точно знаю, что это победа над хаосом, вычленение из этого хаоса самых важных вещей, придание им смысла, цементирование себя именно в этих смыслах.

Первый из них Ольга Мариничева прописала прямо в заглавии книги, в первых, можно сказать, ее буквах – нормальное сумасшествие.

Это был вызов всем нам, считающим себя сведущими в том, что нормально, а что нет, опирающимся на психическую норму, или, как сейчас любят говорить, на адекватность как на некий фундамент, базис своего бытия.

Все, что за этой гранью (так нам кажется), лишено всякой логики, порядка, конструктивности, находится на темной стороне бытия. Но мы ошибаемся. Мы ничего об этом не знаем.

Мариничева смогла написать свою драматическую личную историю именно изнутри этой «другой жизни», и описание это оказалось и логичным, и конструктивным, и наполненным. То есть там все это есть, все присутствует в полной мере.

То, что это открытие по сути дела сенсационно – стало очевидно сразу, книга «Марины Заречной» быстро разошлась и стала библиографической редкостью. Но дело, конечно, не только в этом.

Я уже сказал, что главная ценность книги – в открывании многих и многих смыслов, в их обретении.

Когда я читал книгу, то думал вот о чем.

В моду сейчас вошла духовная розовощекость. Какая-то очень

плоско понятая «нормальность». В культурную моду вошла другая «нормальность», тоже очень плоско, на мой взгляд, понятая: жесткая необратимость жизни. Ее заурядность. А с другой стороны, обаяние зла. То есть произошла интересная вещь. Сумасшествие как культурная категория вышло из моды.

…Ведь сумасшедший всегда страдает. Из моды вышло прежде всего это – страдание. Страдание за других.

«Это ни с чем не сравнимое братство – единение больных в психушках с одним желанием: выздороветь, выйти оттуда, зацепиться, задержаться хоть в чем-то в реальности. Могу свидетельствовать: болеют, как правило, очень хорошие, сердечные, душевные люди», – пишет Ольга Мариничева.

«Я слушала двадцать второго июня по радио передачу о каком-то музыканте, ушедшем на фронт прямо с выпускного бала, и рыдала навзрыд».

«Я уже не так наивна, чтобы отрицать в мире зло (это просто в моем мире его нет), недооценивать его мощь. И потому будут новые и новые развалины, депрессии».

Три цитаты, выбранные мной наугад. Все они о добре и зле. И это абсолютно не случайно.

Всю свою профессиональную жизнь Ольга Мариничева занималась «педагогикой сотрудничества». Под этим громким именем развивалась в 70 – 90-е годы деятельность самых разных людей: и учителей-новаторов, и так называемых коммунаров, которые практиковали довольно сложную психотренинговую методику, менявшую поведение детей за считаные дни. А если говорить еще проще – это было движение, объединявшее профессиональных *делателей добра.*

Так вот, добро эти люди понимали не как тонкое душевное качество, не как производное морали и воспитания, не как атмосферу жизни. Нет, они считали, что добро – это конкретная работа, что его нужно просто делать. И как всякая деятельность такого рода, она встречала массу препон и от власти, и от обычных граждан, и, наконец, встречались препоны совсем уж тяжелые – внутренние.

Но всех этих людей Ольга героически собирала, помогала им, писала о них – несмотря ни на что.

И вот, читая про то, как она, уже на положении пациента, а не всесильного журналиста, в своей больнице устраивала концерты, выпускала стенгазету, вела душеспасительные разговоры с больными, – я понимаю вдруг, что, вытесненное в самую маргинальную зону, это самое добро обязательно отомстит нашей, такой с виду нормальной жизни.

Отомстит за свое отсутствие. И в этом второй важнейший

смысл книги, которая писалась долго и трудно.

Вообще-то, как во всяком хорошо написанном произведении, основанном не только на мыслях и образах, но и на фактах (а книга Ольги Мариничевой основана всегда и только на них), здесь есть огромная увлекательность. Поняв на какой-то странице, что имеет дело с реальной жизнью реального человека, читатель, как мне кажется, должен вначале просто оцепенеть, а потом... Потом что-то произойдет. Открытие, прозрение, катарсис, какой-то важнейший момент уже вашей личной биографии. Нечто откроется. И уже не закроется никогда.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Борис Минаев, писатель*
*В саду личинка*
*Выжить пытается.*
*Санта Лючия —*
*Мне это нравится.*

*Белла Ахмадулина*

*Маме*

Памяти звезд и сверчков. Ты слышишь? – сверчат.

Жизнь – это мимолетный цветочный сор, и немного грустно.

Это вмятины на траве, стойко хранящие силуэты отдыхавших на ней тел. Мотыльковый трепет, легкий солнечный свет, кружево теней от узорчатой листвы на тропинке… Не Вечность, а мгновение. Я знаю: в Саду Жизни Его нет. Но Он есть в Саду моей Памяти. А это уже кое-что…

# У профессора

Я заболела весной, в апреле 1981-го. Любимый человек уехал – я пыталась его материализовать. Мне нужен был двойник: с «оригиналом» я жить не могла – он был женат, у него дочка училась в четвертом классе.

В процессе «материализации» я мысленно столкнулась с одним не то ангелом, не то инопланетянином, который кружился над землей, и ему некуда было воплотиться. Я за компанию решила и его через себя воплотить. Так родился образ, который я со временем назову Гарри. Он изначально был соткан из моей любви.

Тот первый раз происходил на квартире моего старшего друга, профессора, к которому я удрала, скрываясь от мужа. А за мужа я вышла замуж, чтобы отрезать любимому человеку пути ко мне. Вышла замуж и подружила их, чтобы через друга он не смог переступить. Вот такая я авантюристка.

Хорошо помню первый яркий день на квартире у профессора. (А мне говорят, что бред – это беспамятство. Отчего же я так хорошо это помню?) За окном летали птицы и струился солнечный свет. Над кроватью у профессора висела репродукция картины Рембрандта «Даная». Вот и я, как она, хотела принять в себя солнечный свет. Окружающие меня не поняли: примчался муж с моей сестрой, вызвали психиатра, решили меня увезти в больницу. Я садилась в машину, именуемую в народе «психовоз», в полной уверенности, что меня везут на свидание к любимому человеку в березовую рощу. Я уже видела его внутренним взором: высокий, широкоплечий, в синем плаще, в серебряной седине кудрей, откинутых назад с высокого чистого лба.

Профессор, опекавший моего героя (а я к тому же писала о нем очерк в своей газете), послал ему телеграмму с просьбой срочно приехать. А сестра, когда меня уже увезли, послала ему письмо с требованием высказаться о его намерениях на мой счет. В семье у него от этого письма был скандал. И чего они к нам привязались? Жаль, мама тогда еще не жила в Москве – она, быть может, просто дала бы мне отоспаться. Вот все, что нужно, по-моему, для преодоления психических приступов моего типа: отоспаться. Но окружающие были напуганы моими визитами к окну и думали – хочу выброситься. А я просто смотрела на птиц и впитывала солнечный свет.

# На экране сомкнутых век

Ночью (я примчалась к профессору около полуночи) ко мне впервые явились видения. Или как там еще можно назвать проекцию работы подсознания на экран сомкнутых, а то и открытых век? Сны наяву, грезы, видения...

Надо сказать, что мы с друзьями с детства бредили коммунизмом (бредили в обычном, не психиатрическом смысле этого слова). Поэтому неудивительно, что первым ко мне явился (или я к нему?) Карл Маркс. Перед глазами появились брусчатка мостовых, пушечные ядра – очевидно, Французская революция – и потом Маркс в виде чугунного памятника. Он на моих глазах отливался в памятник, а я, улетая с земли, слышала, как вслед мне грохотал его голос, почему-то по-русски: «Запомни! Высшее творчество – социальное!» Я запомнила.

Потом пожаловали Ленин с Крупской. Опять брусчатка, только уже московская: Ленин и Крупская идут по Москве за гробом Инессы Арманд. А над ними (над нами? – ибо я тоже, очевидно, рядом иду, раз вижу брусчатку под ногами) несется на мотив песни «Песняров» про Олесю: «Инесса, Инесса, Инесса! Там птицы стучат в поднебесье... Останься со мною, как песня!»...

Какие-то там еще железные птицы в поднебесье подвернулись...

А в итоге нарисовался мой Учитель, сбежавший в свое время ко мне от жены. Он у меня перед глазами заплясал мелким бесом под мелодию старой студенческой песни, которую он очень любил: «Они песни поют, они горькую пьют и еще кое-чем занимаются. Через тумбу-тумбу раз...» – и так далее.

Я подумала, что Учителя моего простил кто-то там наверху, и он обрел свободу. Вслед за ним должна была – я чувствовала это – пожаловать и его жена. Наши общие друзья называли ее «ворожеей», я тут уже струхнула и очнулась на квартире у профессора.

# В Ганнушкина

Этот сюжет видений начался еще на квартире у профессора. В отличие от встреч с Марксом и Лениным, исполненных в грязновато-бурых, тревожных тонах, этот сюжет шел в светлом, искрящемся тоне. Он дал повод моим друзьям называть меня ясновидящей. В нем шла речь о двух этапах некого переустройства мира (назовем его привычным словом «перестройка»), которые я «предвидела» еще в тысяча девятьсот восемьдесят первом году, на заре своей болезни.

Так вот, первый этап был замешен на той самой брусчатке, по ней спешил мой Учитель на какую-то свою борьбу в сопровождении общей для обоих этапов мелодии о Беловежской пуще. Только в первом этапе мелодия звучала ускоренно, твердо, стаккато, а во втором...

О, это целая поэма! Это был наш период – мой и моих ребят, которых я растила в клубе при редакции в начале семидесятых годов. Этот сюжет я досматривала уже в больнице.

Вот его описание: на фоне яркого солнечного синего неба торжественно взметаются ввысь, в ритме плавной, замедленной мелодии «Беловежской пущи», ослепительно белые фонтаны снега. А солдаты в расстегнутых гимнастерках играют с мальчишками в снежки. Это была картина ослепительного счастья. Но в ней присутствовала капелька крови, которая вплелась в этот сюжет с моего полотенца в изголовье кровати: очевидно, кровь шла носом. Я смотрела эту картину с ликующим чувством! А сама в это время лежала на вязках – в больнице привязали к кровати руки-ноги и плечи («хомут»).

Это – утром. А ночью, когда меня привезли, мне убедительно казалось, что сейчас меня позовут какие-то умные люди, которые вершат судьбы, – в Бога я тогда еще не вполне верила. Я была убеждена, что они находятся надо мной, на втором этаже, и что у них там совещание (люди в кожаных куртках из песни про летчиков: «Кожаные куртки, брошенные в угол»).

Принял меня уставший врач, по виду которого было ясно, что к КГБ он не имеет никакого отношения (я-то, как все в моем *кругу, думала,* что психушки существуют в основном для диссидентов). Но тут мне привиделось, что после моего пребывания в больнице (маниакал, то есть подъемно-бредовое состояние, всегда имеет в себе манию величия) двери всех психбольниц распахнутся, и больные выйдут на свободу, распевая песни и звеня бубенцами. Как ни странно, сейчас мне кажется, что это исполнилось, что и впрямь все психи – на свободе. Взять

ту же Госдуму образца 1995 года: митинги нынешних коммунистов, теледебаты политиков... Но нет – политике не место в моем рассказе.

Тогда же, в тысяча девятьсот восемьдесят первом году, я была оставлена наедине с реальностью психбольницы. Первые дни были в остром бреду и на сильных уколах. А я еще дезориентировала врачей криками типа «Не стреляйте в белых лебедей!».

Это я продолжала в уме писать начатую статью о директоре Магаданского детдома, столкнувшемся с золотой мафией, которого хотели спасти его ученики. Они писали ему со всей страны. Письма слетались, словно белые лебеди. Но у врачей одно на уме: если «не стреляйте!», то – мания преследования, что означало дополнительные уколы. На меня приходили смотреть, словно на музейный экспонат. Дело в том, что в бреду, в отличие от всех остальных здешних буйных, я не употребляла матерных слов. Поэтому ко мне относились с уважением и больные, и санитарки. Одна девушка-экстрасенс назвала меня Джульеттой, ибо в бреду я постоянно звала своего любимого. Я же продолжала свои усилия по материализации, пользуясь формулой Маркса и философа Ильенкова о том, что личность – это ансамбль отношений. Вот мне и казалось, если я воссоздам из разных окружающих меня в больнице людей этот «ансамбль» (из глаз, лиц, фигур), то возникнет, зародится, как узелок на переплетении ниток, и мой любимый.

Человек всегда найдет, на чем свихнуться. Я вот начала с марксизма. А в последнее время и до религии дело дошло.

Именно больница имени Ганнушкина стала моими жизненными университетами. Тут собрался весь «цвет общества» – наркоманки, воровки, проститутки – с редкими вкраплениями перепуганной интеллигенции. Тут я научилась драться, разнимать дерущихся. Я и из «вязок» в бессонные ночи быстренько научилась выкручиваться, доводя до бешенства санитарок.

* * *

Первое время уколы мне делали насильно. Я кричала, что они убьют моего ребенка. Из каких-то иных измерений в мою бедную голову занеслась мысль, что я беременна (от солнечного света, наверное), но не реальным ребенком, а новой эпохой под названием «Золотой Век Детства». Вот я и вопила, что они (медсестры и санитарки) мне его изуродуют.

Но зла я на них не имела, называла их куропатками, вспоминая стихи Николая Заболоцкого о Марине Цветаевой:

Ах, как скучно жить Марусе в городе Тарусе —
Петухи одни да гуси – Господи Исусе...

Но главное – я хотела помочь всем больным, каким-то шестым чувством понимая, что хотят выразить даже хроники, вообще не возвращающиеся в реальность.

Врачи меня любили. Жаль только, давали себе право судить о моей личной жизни. Они вынесли приговор, что мой любимый человек и есть моя болезнь, мой диагноз. Вот тут они меня и сломали (но только на время).

Я безвольно кивнула, и заведующая отделением (потом ее сменили), торжествуя, посмотрела на младшую коллегу. Она всегда радостно и победно смотрела на меня, приговаривая: «Хорошо видеть результат своей работы!» Но однажды, когда я покорно кивнула, и заведующая было пошла дальше, младшенькая воскликнула: «Да вы посмотрите, у нее же слезы на глазах!»

«Это слезы радости!» – победно, как отрезала, заявила заведующая, крутанув хвостом туго стянутых волос.

Вскоре началась депрессия. Так я выразила в стихах ее суть уже после больницы:

Все соборы беззвучно взорвали,
Вместо горных вершин – суховеи.
И холодная зелень мая
Стала тусклой мечтой о снеге,
Обесцвеченной и отпетой,
Как отцветшие волосы Сольвейг.
И бредут в немоте поэты,
И куда-то пропали боги.
Затяну поясок печали,
перестану дышать тобою.
Белый чайник себе поставлю.
И ошибку в себе открою.

Убеждена до сих пор: нельзя психиатрам так однозначно судить о личной, сердечной жизни пациентов! Нельзя, даже если любовь проходит в форме бреда. Ведь не мной замечено: зависимость психически больных от психиатра колоссальна, власть его над душами ничем не ограничена и ни с чем не

сравнима. Психиатрам больные верят, как Богу. И нельзя, нельзя, нельзя ломать любовь, даже ради спасения пациента, его возврата в реальность. Иначе в реальность возвратится убитая душа.

А тут еще эта грязь, смрад, плесень и подтеки на стенах, мат-перемат на кухне, куда за обедом посылают дежурных больных, жуткая одежда для гуляний: старые телогрейки и разбитые, типа солдатских, ботинки. Оказавшись в этой реальности и впав в тяжелую депрессию, я с тоской вспоминала лучезарные дни маниакала и хорошо помнила весь свой волшебный бред, когда я внутри себя бежала, как по мосточкам через болото, по сюжетам сказок. По архетипам сознания, если пользоваться выражением психолога Юнга. А мне тогда казалось – это моя умершая бабушка подсказывает мне сказочные сюжеты, словно мосточки над трясиной бреда стелет.

Потом, повторяю, все погасло. А возродилось только осенью, когда я поехала в командировку и встретила своего любимого. Той же силы поток образов, ассоциаций хлынул на меня будто с небес. Ну а врачи в Москве сказали: заболела снова. Действительно, впереди был новый виток болезни – уже с новым именем.

# И плюшевые звери, тебя покуда нет, поговорят со мной…

Его мне послал Господь, как утешение за ту любовь, несбыточную. Впрочем, новая любовь оказалась, как показали все последующие годы, не намного «сбыточнее».

Наш общий друг однажды зимой попросил меня как журналиста спасти человека, находившегося в очень тяжелом состоянии в связи с постоянными гонениями со стороны властей. Его звали Юрой. Мы пришли в его квартиру на Садово-Черногрязской улице, и я с первого мгновения, как в романах пишут, увидела: это он. А он взял гитару и сказал, что подберет ко мне музыку – получилось «Расцветали яблони и груши» про Катюшу и бойца. И еще он сказал, что его нет в живых, что остался только пепел. Я заметила, что пепел – хорошее удобрение для новых всходов. Был он высок, бородат, красив и несчастлив. Долгие годы над ним тяготели и тяготеют до сих пор наветы, а в прошлом – суды, Бутырка, принудлечение в психушках…

Я радостно сообщила маме в тот вечер, что нашла как раз того, кого нужно: диагноз «вялотекущая шизофрения», обвинение в педофилии. А он ни в чем не был виноват. Продолжал полулегально работать с детьми вопреки всему. Вот мой герой, как раз мне по плечу. Мама только обреченно вздохнула.

Второй раз меня увозили в больницу уже из подъезда его дома, в котором я, одной мне понятными способами, «расколдовывала» этот подъезд от злых сил (Юры дома не было): расплескивала по ступеням и стенам пузырьки с разноцветной тушью и, кажется, даже духами (вот дура-то!). Притащила Вике, его тете, ворох своих бус и ожерелий (в моем бреду она была царица морская, которая просто так мне Юру не отдаст). А еще в те дни я всем незамужним женщинам раздавала мелкие незабудки из эмали – разорвала свое ожерелье. Одну незабудку подсунула под дверь бывшей Юркиной жены (она жила в той же квартире в ожидании разъезда), чтобы у нее все хорошо сложилось без Юры. В общем, «психовоз» мне вызвали в этот раз его тетя с бабушкой.

И опять – санитары, вязки, уколы, материализация… Я близорука, а в «острой», поднадзорной палате очки не положены, потому моя фантазия беспрепятственно творила из расплывчатых силуэтов окружающих людей материальное предвоплощение Юры (потом нечто схожее я видела в кинофильме «Собачье сердце»).

Помню острое чувство всепоглощающей тоски еще тогда,

когда я бормотала у него в полутемном подъезде, – а вдруг его нет со мной?! (Я-то была уверена, что он незримо присутствует рядом.) Вдруг мою речь, обращенную к нему, никто в целом мире не слышит?!

...Я звала по привычке кого-то,
Но в ответ в этом царстве теней
Даже голос мне не был дарован,
Страшный голос: «Меня нет нигде».

Это сейчас, когда я учусь верить в Бога и избавилась от этого леденящего чувства глобального, тотального одиночества, есть кому слышать меня.

А тогда – я просто ждала. Это было невыносимо: он так никогда и не пришел ко мне в больницу, но я не роптала и не ропщу. Со мной были его песни, я ими дышала, ими жила. С ними работала. Это у нас с Юркой общее: постоянная работа с людьми.

Медперсонал использовал мою энергию на полную катушку. Старшей медсестре я писала рефераты по марксистско-ленинской философии (она училась на каких-то курсах), проводила политинформации, концерты, заведующей отделения (уже другой, сменившейся) помогала внедрять что-то вроде системы Макаренко в жизнь психбольницы. В качестве председателя совета больных проводила с ней по субботам, в ее выходной, общие собрания, следила за графиком производственных работ в мастерских, в отделении, в столовой какого-то завода...

При советской власти у каждого отделения психбольниц был свой производственный план, который нужно было выполнять за чисто символическую плату, да еще и участвовать в соцсоревновании. План этот съедал у медперсонала не меньше сил, чем само лечение. А для больных... Какой кретин назвал это трудотерапией?

Пациентам психбольниц нужен не монотонный, скучный труд по склеиванию коробочек, продергиванию резинок в пластмассовые козырьки от солнца, клепанию металлических изделий в мастерских и мытью полов в заводской столовой, а – творчество. Ведь по преимуществу все, лежащие в этих больницах, обладают мощной фантазией, воображением. Это понимал Ганнушкин в начале века. В нашем отделении сохранился его бывший кабинет, отданный уже в нынешнее время под комнату свиданий с посетителями. Сохранился огромный дубовый стол, старинный рояль, пальмы в кадках и совершенно завороживший меня громадный шкаф темного дерева со стеклянными дверцами. Там, за стеклом, стояли игрушки, мастерски выполненные:

тряпичные фигурки людей и зверей. Куклы в платьях крестьян, рабочих, купчих. Продукция больных начала двадцатого века. Ганнушкин знал свое дело. Не понимаю, почему в отечественной официальной психиатрии, в отличие от зарубежной, почти не практикуется терапия искусством, творчеством? Наверное, просто денег не хватает. Этот шкаф служил мне местом отдохновения. В душе оживала песня Юры: «Мы души игрушек, заброшенных вами когда-то».

Я пробиралась в одиночестве к заветному месту, усаживалась на корточки у дверец, наблюдая игрушки, и напевала про себя песенку Веры Матвеевой: «...И плюшевые звери, тебя покуда нет, поговорят со мной...» Это было моей отдушиной, когда сердце замирало от нежности и смиренного ожидания.

...Жизнь души как мотылек, зажатый между пальцами, трепещет и не дается к воплощению в прокрустовом ложе слов.

Это всегда мешало мне писать о пережитом: получалась неправда. Но теперь мне просто некуда, кроме слов. Один из моих нынешних докторов, сотрудник Центра психического здоровья Александр Николаевич Коренев утверждает, что для меня лучший способ выздоровления – публикация своего бреда, всего пережитого в болезни.

А я хочу выздороветь. Вот и пишу, начихав на невоплотимость Правды Жизни. В конечном счете, все вокруг нас – условность, относительность, правдив и абсолютен один лишь Бог, Его Слово, а наше – лишь отчасти.

...Мы вторичны.
Мы все – приблизительны.
Мы лишь копии копий.
Спасенья
В мире нет
От тоски повторенья.
И – смертельной жажды
Первичного.

# «Ты меня везде найдешь»

Но есть еще одно глубинное чувство, которое меня ведет в этих записках: боль за моих девочек, оставшихся в психбольницах, особенно – за хроников, чей мир вовсе невыразим в наших словах и понятиях. Но я почему-то каким-то шестым чувством их понимала. Одну из них я называла Олесей – из больных никто не знал ее имени: вогнутая от постоянного лежания спина, щербатый рот. Родителей у нее не было, только сестра, которая перестала забирать ее домой после того, как Олеся разбила телевизор. Я удивлялась: как может телевизор быть дороже сестры? Олеся в основном лежала без движения, что-то бормоча себе под нос, и лишь изредка подходила к окну и начинала вопить на все отделение с чьих-то матерных слов: «Хочу ебаться!», прогибаясь вперед деформированным позвоночником. Я становилась с ней рядом у окна, мы молча общались, она успокаивалась. В тот день, когда Олесю навсегда увозили в загородную больницу для хроников, мы так же молча стояли с ней у окна. И вдруг она неожиданно, тусклым голосом, но внятно и почти осознанно сказала мне, глядя в окно: «Я знаю, ты меня везде найдешь». Я тебя везде найду, Олеся. Я – помню.

Мне надо их помнить, чтоб хоть как-то озвучить, материализовать их существование в нашей реальности, в которой их вроде и нет ни для кого, кроме санитарок, врачей и близких родственников, если таковые еще имеются.

Вторую девушку, совсем девчушку, с густой короткой стрижкой, звали Светой, но она себя называла «он». Больше ничего из ее бормотания разобрать было нельзя. По ее знакам и мычанию я поняла, что себя она считала оленем и потому жевала сушеную траву, а попросту – табак, который она добывала, потроша чужие сигареты, за что получала бессчетное количество тумаков. Она постоянно сидела на толчке, у нее был геморрой, и откликалась только на просьбу добродушной полной санитарки спеть песенку. В ответ она запрокидывала голову и тут же, на толчке, в немыслимо бешеном темпе выговаривая слова, начинала петь: «А нам все равно, мы волшебную косим трын-траву». Она, как я поняла, хотела спасти все живое. Мотив всеобщего спасения очень силен среди душевнобольных (вспомните «Красный цветок» Гаршина).

Еще одна девушка, с зелеными печальными глазами, ставшая инвалидом после того, как со словами «С Богом!» шагнула вниз из окна четвертого этажа и чудом выжила, очень хотела развесить по всей земле плакаты всего с двумя словами – «Берегите воду».

Ее глаза были очень похожи на глаза моего Юры, поэтому я еще в бреду выделила ее среди остальных. Потом мы с ней встречались уже после психушки, я навещала ее в обычных больницах, в которых она лежала с позвоночником. Это ни с чем не сравнимое братство – единение больных в психушках, объединенных одним желанием: выздороветь, выйти оттуда, зацепиться, задержаться хоть чем-то в реальности. Могу свидетельствовать: болеют, как правило, очень хорошие, сердечные, душевные люди. Моя мама, будучи в нашем отделении председателем совета родственников, начинала свои поздравления больных с очередным праздником со слов, что здесь собраны самые тонкие, самые восприимчивые люди – и эти слова необычайно поддерживали моих подруг. Я же с радостью готовила для них концерты с их же участием, собирала деньги и закупала с девчонками угощения на праздники, устраивала танцевальные вечера с приглашением пациентов из мужского отделения и очень сожалела, что мои друзья-музыканты не принимали всерьез мои просьбы прийти к нам поиграть и попеть.

Люди добрые! Не пугайтесь психбольных, не отрезайте жизнь этих людей от собственной реальности, если уж не можете не сдавать нас туда. Мы – такие же, как вы, только немного другие.

Мы очень хотим быть обычными, быть – как все, даже если у нас это никак не получается.

# Тамара Георгиевна

Я бесконечно благодарна врачам, стремившимся меня понять. Конечно, я им говорила не все, оставляя кое-что про запас, в тайне. Например, то, что я считала своим «волшебством», называя себя Комиссаром программы «Солярис» в честь одноименного фильма Тарковского по Станиславу Лему. Суть программы: материализация духовных объектов, о чем я докладывала своим подругам по больнице. От врачей же скрывала: все равно не поймут. Но остальное все рассказывала.

Мне повезло с новой заведующей отделением Тамарой Георгиевной Никулиной: она оказалась хорошей слушательницей, а впоследствии – нашим с мамой другом. По весне мы ездили вместе с ней за ландышами к нам на дачу. А в больнице она была для меня отдушиной, не считала бредом, например, мое неистовое желание позвонить моему знакомому, заместителю главного редактора журнала «Коммунист», и сказать, что в статье Ленина о Фейербахе, опубликованной в их журнале, Ленин ошибался. Фейербах писал, что мы такое же вещество, из которого сделаны звезды, а Ленин это оспаривал. С этим журналом я и прибыла в больницу. Тамара Георгиевна мягко выслушала меня и посоветовала не звонить: философы сами разберутся и напечатают свои статьи, а мы их почитаем. Это меня немного успокоило.

Я любила уединяться с ней в ее кабинете и петь ей песенки – например, визборовскую «Милая моя, солнышко лесное». Она внимательно, молча слушала, склонив голову к плечу.

Она же спасла меня от этой больницы, сказав, что это место не для меня, и посоветовала нам с мамой пробиться в Центр психического здоровья, что мы и сделали. У меня как раз была тяжелая депрессия, попытки суицида. Полдня просидела с открытыми газовыми конфорками и духовкой – не брало. Резала вены – недорезала, пошла в больницу зашивать запястье, отпугнутая от суицида театральностью этого жеста. Докторица, принимавшая меня в Центре, не понимала тривиальных вещей, утверждая, что нет никакой разницы между Ганнушкина и этим Центром – только стены другие: финская мебель, французские гравюры. Так в этом вся и суть! Окружающая больных материальная среда – это же очень важно, если не самое главное! А самое главное: в Центре меньше нагрузка на врачей, они ведут всего по семь человек каждый. Центр – элитарное лечебное заведение для больных нашего профиля. Едва я перешагнула порог своего нового отделения – и с меня слетела депрессия. Хотя

тут же начался опять маниакал, опять программа «Солярис». Но общество там, на Каширке, собралось изысканное!

Тамара Георгиевна, приезжая меня проведывать инкогнито, робко заглядывала за порог комнаты свиданий, – а я ей говорила, что она остается в Ганнушкина, как на передовой, Центр же – что-то вроде тылового госпиталя...

Вообще психиатрия – это самая настоящая линия фронта: психиатры держат оборону от мира безумия, все сильнее наползающего на реальность материального мира. Похоже, психиатры – последний оплот вменяемости на границе реального и ирреального. Причем это столкновение частенько вполне осязаемо. Тамара Георгиевна, изящная и деликатная, пережила несколько нападений со стороны буйных пациенток, выдравших ей клок волос и расцарапавших лицо, – такие случаи не редкость.

Она навсегда останется в моей памяти своей печальной фразой: «Красоты не хватает, Марина Владиславовна, красоты вокруг очень мало».

# В Центре

Итак, общество здесь подобралось изысканное – почти сплошь интеллигенция. Покачиваясь на финских вращающихся креслах, мы вели неспешные, безумно интересные беседы. Тихая, кроткая, улыбчивая девушка Лена рассказывала, что она ничего не может есть, кроме хлеба и воды, потому что чувствует боль всех растений и животных, убиваемых человеком для пропитания. Ела только ради мамы, и мечтала найти такого же человека, как она, который бы питался солнечной энергией и водой, уйти с ним жить в пустыню. Она понимала, что мечта ее практически несбыточна, и потому мужественно несла свой крест среди обычных людей, включая психушки, и лишь просила не посылать ее на кухню чистить картошку, ибо для нее это равносильно фашистским концлагерям, в которых с людей заживо сдирали кожу. Другая девушка вернулась к нам, как она сообщила в бреду, из вселенского гестапо. Там убили всех ее детей, и больше людей нигде не осталось. И нам тоже только кажется, что мы живые. У нее было обгоревшее лицо: утром, пока все спали, она прошлась по палатам, доставая из тумбочек шампуни и втирая их зачем-то в кожу лица. Я ставила ей примочки и объясняла, что это в ее реальности всех убили, а в нашей еще остался кое-кто, и раз уж она здесь очутилась, то надо научиться нашим правилам: например, шампунем моют волосы, а не мажут лицо.

Распространенный среди больных мотив – встречи с инопланетянами прямо на улице, среди толпы. (Черти больше почти никому не чудятся, я за долгие годы встретила лишь одну больную «с чертями».) Сама я тоже постоянно чувствовала некое присутствие высших существ. Мне стало мерещиться в приступах, что они материализуются в обычных людей, чтобы спастись от какой-то враждебной им цивилизации. Их отличал звездный блеск глаз.

Сюжеты бреда одинаково повторяются у разных больных, но реагирует на эти сюжеты каждый по-своему. Например, первый раз, когда на меня хлынул в тысяча девятьсот восемьдесят первом году поток образов и света, я назвала это привычным для себя термином: «Коммунизм начинается». И стала на радостях все раздавать. В больнице мне встретилась девушка с тем же откровением, но она, в отличие от меня, в связи с наступлением коммунизма стала бесплатно брать с прилавков все подряд.

Для меня каждый приступ маниакала проходит в бесконечном дарении окружающим всего, что у меня есть под руками. Скажу честно, что о некоторых подарках, очутясь в

депрессиях, я, бывает, остро сожалею. Я так и не поняла, где же я более истинная – в маниакале или в депрессиях?

# Сон на даче

В то лето я много писала и печаталась. Был подъем – но без бреда, редкая удача! Однажды на даче, на рассвете, мне приснился ослепительно яркий до осязаемости сон. Дело было на незнакомой планете в большом зале, полном каких-то людей. Я работала с аудиторией, как на коммунарском сборе, когда мы умели за считаные часы сплотить и воодушевить массу народа. Но здесь я недооценила запасы злости и агрессии, скопившиеся в людях, раздался щелчок выстрела, и я стала улетучиваться, дематериализовываться, отлетая, и в этот миг появился он – Звездолетчик – в одеждах серебристо-пепельного цвета. Он прилетел мне на помощь, но опоздал. Навсегда отпечаталось в моей памяти его лицо – поднятое вверх, ко мне, мучительно напряженное, любящее. Только один взгляд нам и был дарован. Я исчезала, улетучивалась, и по мере того, как я улетучивалась там, на той планете, я появлялась здесь, на даче, среди зеленого от листвы солнечного света в окнах. Рядом спала мама, и я должна была сдерживаться – только одна горячая слеза сползла по моей щеке на подушку, мама подняла голову, я тут же закрыла глаза, не смея даже разрыдаться. Ведь он, мой самый настоящий, единственный, остался там, на недосягаемой звезде, один, без меня, к которой он так спешил на помощь. Остался – работать, а мне предстояло работать здесь, тоже одной. Только имя его осталось со мной – Гарри. Да еще этот его мучительно-тоскующий взгляд, чего оказалось достаточно, чтобы я долгие годы упрямо искала его на земле.

Наверное, это были осязательные галлюцинации: я чувствовала его вселение в меня буквально кожей. Очевидно, это был след еще тогдашнего, давнего образа в профессорской квартире. Мне было это не важно: галлюцинация он или реальный образ – я должна была разгадать его, найти. Юре я честно описала свои ощущения по телефону и прямо спросила, он ли этот Гарри, который по мне «ползет» на расстоянии, или кто другой? Юра, очевидно, струхнул и отрицал свое пребывание в моих ощущениях.

Тогда я начала искать Гарри в других измерениях.

...Пишу эти строки на даче в середине лета, когда кажется, что сама природа, сама материя солнечного света противится уходу в мир иллюзий и иррационального. Пишу, преодолевая вязкость слов, чтобы выразить невыразимое, запечатлеть эфемерное, наполнить бытием несбыточное.

Но для меня эти иллюзии – такая же реальность памяти, как сама реальность. Даже ярче. Я была твердо уверена, что Гарри так же самоотверженно, как и я, ищет нашей встречи. Галактики, расстояния – все не в счет. Мы общались знаками. Я, к ужасу мамы, то и дело тащила в дом разные предметы, подобранные на снегу или в траве, зависимо от времени года: игрушки, носовые платки, коробочки и прочее. Я научилась считывать знаки нашего общения как контрапункт: с облаков, деревьев, звучащей по радио музыки... Будучи Комиссаром программы «Солярис», я чтила субординацию и строчила воображаемому начальству Гарри прошения с просьбой не наказывать его за нарушения инструкций, на которые он шел ради нашей встречи. Не беда, что некому и некуда было отдавать эти прошения. Я вообразила, что на расстоянии передается само нажатие шариковой ручки на бумагу.

Все хорошее, что устраивалось в моей жизни, я приписывала Гарри. В частности, новую редакционную дачу в Мамонтовке, кипень высоких цветущих черемух вдоль следования электрички – это он мне все приготовил, окружая меня красотой, заботой, как теплый невидимый ветер. Но встреча никак не случалась – это было немыслимо, противоестественно, ведь я так явно ощущала его присутствие. И тогда меня посетило откровение!

Гарри должен был быть – это правда, и мое чувство не обманывало меня: мог быть, должен быть, но его нет! Потому, что нет десятков миллионов жизней, насильственно загубленных в нашей стране в этом веке. Они, их дети и внуки должны были быть по всем законам природы – но их нет, они не вернулись с войны ли, из лагерей. Я слушала двадцать второго июня по радио передачу о каком-то музыканте, ушедшем на фронт прямо с выпускного бала, и рыдала навзрыд. Днем позже, на даче, мы сидели с мамой на втором этаже в мансарде, и я рассказывала ей свои мысли – она тоже не дождалась с войны своего неизвестного суженого, а потому вышла замуж неудачно, пришлось разводиться. Не дождалась – потому что гибли лучшие, их теперь не хватает везде – в бездарной политике, архитектуре, промышленности, искусстве, в самом облике людей. Мама плакала вместе со мной. Я написала пронзительную статью об этом, мои старшие коллеги поражались, как я смогла прочувствовать эту тему, ведь родилась уже после войны. Я им ничего не сказала о Гарри, он так и остался моей тайной. Я жадно вглядывалась в нашем редакционном музее в лица тех, которые

ушли на фронт и не вернулись, и даже нашла среди них предполагаемого Гарри. Не важно, что он носил другое имя.

Сколько лет и столетий скитаться
Нам пришлось, неразгаданный мой.
Догорает в полете наш танец —
И, сгорев, начинается вновь.

...Болезнь эта отступила, я уже с трудом вспоминаю ее детали. Но образ Гарри так и остался щемящей тоской в сердце. На даче в Мамонтовке, у дороги, есть заросший пруд, а над ним – фигура солдата в развевающейся шинели, крашеная серебряной краской. Серебро на зеленом фоне деревьев и кустов. Я каждый раз мысленно склоняю перед ним голову и с горькой печалью шепчу: «Здравствуй, Гарри». Невстреченный мой, прощай!

Юра, когда прочел в одной из газет мою сказку о Гарри, не стал претендовать на этот образ, а лишь подтвердил: «Гарри – это тайна». С Юрой мы виделись редко, он вскоре после нашего знакомства уехал из Москвы в другой город, у моря. Окружающие по-прежнему винили его в моих приступах болезни, что еще больше вынуждало нас держаться на расстоянии. Но настало лето, когда наша желанная встреча, наши невысказанные слова были так близки!

Мы условились встретиться в мой отпуск в Гурзуфе.

# В Крыму

Я ждала Юру в доме отдыха в Гурзуфе, читала «Вехи» и горько каялась перед Богом за всех коммунистов, за их отречение от Господа. А на пирсе возле «Артека» стояла бригантина под парусами: шли съемки.

Не иначе как бес меня попутал: я молила Господа наказать одну меня за грехи всех коммунистов. Говорят, что Бог наказывает исполнением желаний.

Вместо Юры, который не приехал (почему-то отменили в тот день все рейсы), мне встретился Леонтий, за которого я в скором времени выйду замуж. У меня есть дурацкая привычка: выходить замуж почти каждый раз, когда случается физическая близость. Но мне до сих пор это кажется естественным. Леонтий был седьмым по счету мужем. Он попросту увел меня от Юры, я ведь так устала ждать его. Впрочем, в те дни, когда появился Леонтий, я была совсем не в себе. Бегала ночью на пирс к бушующему морю просить у Бога прощения для дьявола – очень мне его жалко было. Вот на следующий день и явился Леонтий.

Я, как водится, и Леонтия стала спасать. Он очень боялся смерти и еврейских погромов, и вот я ночами стояла у нашего домика, куда убежала из дома отдыха, с красным пластмассовым детским мечом: охраняла его жизнь от тех угроз, что мне мерещились. Кончилось это тем, что он позвонил в Москву моей маме и вызвал местный «психовоз». Мы знакомы были всего дней десять, но санитарам я упорно твердила, что он мой муж, пока они усаживали меня в машину. Он, должно быть, вздохнул с облегчением, а я, как всегда, была убеждена, что мой избранник последовал за мной, незримо присутствует со мной в больницах. В этот раз у меня пошли глюки после бессонных ночей: наш старенький домик в Гурзуфе привиделся мне отремонтированным, белым, утопающим в кружевных занавесках. Из домика того меня почему-то долго возили по разным крымским больницам, пока не доставили под Симферополь, в крымский областной Центр психического здоровья. В одной из больниц я сочла, что очутилась в раю, только было там пасмурно и скучно. Сюжет был продолжен уже под Симферополем в Центре, где обнаружилось, что в раю у людей нет зрения и воды.

В общем, без меня и на том свете не могли разобраться, всюду были недоработки. Я с восторгом кидалась их дорабатывать. Там же, в этих поездках, мне пригрезилось испытание: одним махом перешагнуть через смерть, пересекая какую-то незримую линию. Я с готовностью шагнула. Вообще,

мотив экзамена, испытания, которые мне предлагаются кем-то свыше, постоянно присутствует в моих бредовых состояниях. То ли потому, что экзамены – моя стихия: школу закончила с золотой медалью, университет – с красным дипломом. То ли слишком силен мотив пострадать за всех, за всеобщее спасение и доказать эту свою готовность в различных ситуациях, моделирующих реальные испытания.

Были в этих разъездах и упоительные моменты: так, мне грезилось, что везут меня не по крымским горам, а по Гималаям, и что совсем рядом – махатмы и все чудеса Шамбалы. В автобусе душно, густо пахнет бензином, нечем дышать. Я затаила дыхание, плотно зажав ноздри и закрыв глаза, тут кто-то открыл люк, и мне почудилось, что я поднялась сквозь этот люк в небо и там, в золотом безвоздушном космическом просторе, танцую с кем-то золотой вальс.

Еще было одно упоительное мгновение до больницы. Ночью, когда я подняла к небу глаза, то действительно увидела небо в алмазах – так сияли звезды! И мне увиделась картина мироздания: сверху колокольчик роняет капельку-звездочку, она несется через миры и галактики и падает вниз, на раскрытую ромашку. И все дело лишь в том, чтобы не бояться стать самой этой звездочкой. Потом, уже в больницах, мне пригрезилось, что за эту картинку меня ждет расплата: слишком преждевременно видеть небо в алмазах на нашей земле. Мне было показано, как я своей поспешностью что-то напортила, напутала в общем потоке жизни, и в результате какие-то хорошие люди, высшие существа, были вынуждены поменяться полами: мужчины стали женщинами, а женщины – мужчинами. Но семейные пары сохранились...

Затем я оказалась в безвременье.

Это был ад или чистилище – так я решила. Глыбы жизни застыли неподвижными разноцветными сталактитами. Ничего не происходило, ничего не изменялось. Мне виделись какие-то плиты египетских пирамид, придавившие течение жизни. Я напрягла последние силы и на донышке души обнаружила каплю спасения. Память о том, что я любила Леонтия. Перед глазами возник тонкий, но сильный зеленый росток; он изо всех сил рос и пробил каменные плиты. Я была спасена. Вдогонку мне было показано наказание того, кто подбивал меня на все эти эксперименты: он был заключен в образ гигантского орла, приговоренного к неподвижности. Ему было дано лишь через полуоткрытые веки видеть один и тот же неподвижный, неизменяемый мир, застывший каменными самоцветами. А мне – возникать в этом мире заново и заново с глубинной тоской

оттого, что я знала: нового ничего нет, это все одна и та же кутерьма. Это очень тяжелое чувство, оно накатывает на меня в депрессиях.

А дальше случилась сказка: Леонтий приехал в больницу. Впервые тот, кто являлся мне в бреду и кого я ждала, вроде бы сбылся. В Москве мои врачи с радостью констатировали этот факт: «Вот, наконец у вас есть в реальности тот, кто вам нужен». Я очень любила Леонтия, не могла дождаться его из командировок – он работал организатором художественных выставок. Но и он не уберег меня от депрессий, таковы уж законы болезни. А может, внутри была очень сильна память о Юре – это ведь его я ждала в Гурзуфе. О своем предстоящем замужестве я сказала ему только следующей весной. И мы оба вроде радовались этому. Так радовались, что в итоге крепко загрустили. Но я была убеждена, что нашла свою судьбу. Может, она и сложилась бы, не случись катастрофы: за день до моей свадьбы машина, в которой Юра с детьми возвращался из горной экспедиции, упала в пропасть. Шестеро ребят погибли, сам Юра чудом остался жить с массой переломов позвоночника и ребер. Я восприняла это как знак Божий. Резкий разворот, резкий разрыв – и я ушла от Леонтия.

# Жить – это приказ

Вся помощь пострадавшим в катастрофе шла через клуб моих ребят под руководством Андрея Савельева в центре Москвы, на Сретенке. Я же крутилась у них под ногами со своим «волшебством». Где-то раздобыла огромную коробку с куклами и высаживала их вокруг стола по числу пострадавших – Юрой же я назвала одну из них. Я знала, что он не хочет жить, хочет уйти вслед за ребятами, и колдовала над куклами, мысленно посылая Юре слова: «Жить – это приказ». Потом их с Кавказа перевезли в клинику в Питере, я же писала в Москве сказки, обращенные к Юре, печатала их в «Учительской газете», главный редактор которой был моим другом, а в Питере Юрины ребята покупали эти газеты и читали их ему вслух. Так, мне казалось, я тащила его с того света. Мне же он писал из больницы: «Ах, если б нашелся кто-то могущий понять, что единственно и больше всего на свете мне нужен юрист, который мог бы довести меня до „вышки“». Я отдал ему бы все материальное, что у меня есть. Благословил бы пославшего мне пулю в лоб – как еще уйти к ребятам? Самоубиваться, однако, нельзя. И к ребятам не попаду, и пропаду. Зачем-то я задержался здесь. По мнению окружающих, я должен отбывать эту постыдно бессмысленную жизнь».

Их, ушедших, он при встрече со мной назвал нашим с ним «небесным отрядом».

# Страшный Суд

Опять пространство жизни скукоживается, как шагреневая кожа, опять наползает самое страшное – депрессия. Жизнь наполняется, как губка водой, тревогой и беспричинным страхом. Страхом личностного небытия – депрессией. Все, что я могу – это свидетельствовать свои состояния буковками, держать в памяти дорогих людей и через них реальность. Я устала жить на вечных качелях между подъемами, маниакалами и депрессией. Но, Боже мой, что же мне остается? Итак, продолжаю запись бредовых состояний, частоколом строк обороняясь от липких волн страха. Моя мамочка – вот мое спасение. Бесстрашная моя мама, не боящаяся ни бреда, ни черных пустот моих депрессий. Итак, вернусь в прошлое, в один из сюжетов бреда.

В депрессиях мне становится жутко стыдно за свою наглость в подъемах, в маниакале. За гордыню, манию величия. Например, за то, что Юру я мыслила мессией, а себя – его напарницей, защитницей.

Но, может, для каждой любящей женщины ее любимый – немного мессия? А может, вообще любовь – это и есть безумие? У кого-то в меньшей, у кого-то в большей степени.

Смысл был в незаметном, плавном – чтоб никто и не заметил – преобразовании, сплетении того света и этого, волшебном их взаимопреобразовании. И вот я пребывала, полная ликующей многозначительности, в первой поднадзорной палате и постоянно твердила, кружась в одном мне понятном цикле движений: «Вот Бог – а вот порог». Мысль была в том, что Господь доверил нам с Юрой очередную вахту на земшаре, очередной невидимый конец света.

«...Лишь бы он остался цел – этот трудный лобастый ребенок, этот маленький наш земшарик...»

Мой лечащий врач участливо спросил: «Ну как, видели вы тот свет? Какой он?» – «Видела, – кивнула я в ответ, – такой же, как этот».

В отличие от массовых помешательств на образах мессий и пророков, я сохраняла в тайне свое «предназначение». Доверялась только Юре, строча ему каждый день письма с «инструкциями» по проведению Страшного Суда. Письма, слава богу, не доходили. В моем понимании просто не было никого, кто бы так подходил на роль мессии, как Юра. Обожествление, идеализация своих избранников – моя участь. Но время от времени в образ мессии вмешивался образ Гарри, оттесняя Юру. То есть кто-то посторонний, не тутошний, не из наших, но очень хороший. У

меня была уникальная роль: заманить его на землю, влюбив в себя, воплотить, материализовать его внематериальную сущность, чтоб он уже потом здесь обустроился и утешился какой-то другой земной любовью. Еще дома, накануне отвоза в больницу, под абажуром, я то и дело меняла наряды: так я его завлекала. Вместе с ним с того света должны были прорваться души умерших – или просто инопланетяне – и я их видела... в телевизоре. Это были в основном певцы и музыканты, но их выдавала неземная красота и звездный блеск глаз. Работники телевидения, как я была уверена, их укрывали, участвуя в этом грандиозном эксперименте.

Я так и заявила врачу: «Я болею вместе с телевизором». И он каждое утро на обходе начинал разговор со мною с вопроса: «Ну, как дела у нас с телевизором?». На что я бодро отвечала: «Болеем». И давала собственную подробную трактовку всего увиденного по ТВ.

Еще один мотив последних лет – тайное сошествие Матери Божией на землю в обличии простой женщины. Я, естественно, это обличие разгадывала. Помню, избрала в какой-то из крымских больниц благообразную сухонькую пожилую женщину в белой кружевной кофточке. И пока нас вместе с другими пациентами везли по крымским дорогам, я громогласно требовала признать ее Божьей Матерью и отнестись к ней с почтением. Я, очевидно, так вопила, что получила от какого-то парня удар по зубам, губа была разбита в кровь.

Но я все равно не успокоилась. А бабулька лишь молча пожимала плечами в белых кружавчиках.

Я очень боюсь Апокалипсиса: ведь погибнут дети и все живое, неповинное в наших грехах. Поэтому всеми силами стремилась устроить плавный, безболезненный переход, при котором грешники раскаялись бы сами собой, оказавшись в царстве Гармонии. А мы им здесь, на земле, моделировали бы это царство. Наверное, это были банальные еретические мысли, но я их нигде не обнародовала. Позже, знакомясь с различными сектами и «новыми религиями», в частности с Богородичным центром, я обнаружила у их создателей типичные проявления психических болезней. И мне кажется неуместным тот пыл, с которым их официально обличают – надо бы просто лечить. Только вот не знаю, готова ли отечественная психиатрия справиться с их бредом.

Пока же я наблюдала в больницах жертв множественных сект и общин: Катя, ставшая моей младшей подругой, потеряла после занятий в сектах дар речи, впала в какой-то ступор. Другая девочка начиталась книг по магии и буквально застыла с широко открытыми карими глазами, упертыми в одну точку. Ей не

помогали даже электрошоки. Третья девочка все время билась головой об стенку в молитвенном экстазе, пока не падала без сил.

Для верующих больных в Центре устроили маленькую церковь – врачи отдали под нее свой буфет. Священником в ней был бывший психиатр. Его черная ряса часто мелькала в коридорах вместе с белыми халатами врачей и медсестер. Он принимал исповеди, давал наставления, крестил желающих; молоденькие девушки, надев платочки, табунами ходили за ним, крестя друг друга.

Было в этом что-то бутафорское, и мне священник посоветовал креститься все же не в этой больничной церкви, а в настоящем храме. В больнице же церковь играла роль еще одного лечебного кабинета, наряду с кабинетами массажа, шейпинга и тому подобных.

# И смех, и слезы, и любовь

Молоденькая психологиня, деловито разложив листочки, спрашивает меня: «С кем из литературных героев вы себя отождествляете?»

«А вы?» – с интересом спрашиваю ее я. – «А кто из нас психолог: вы или я?» – строго ответила вопросом на вопрос психологиня. – «Не знаю», – честно ответила я, ибо разговор в режиме монолога, допроса кажется мне глубоко антипсихологичным. Договорились, что в конце она ответит на мой вопрос, а пока ответила я: «С Фрэзи Грант, бегущей по волнам». – «И чего вам недостает в сравнении с этим образом?» – «Легкости походки». Психологиня подняла брови, не поняв, а я объяснить не сумела. Потом разговор зашел о здании Института мозга, что строили за окном. Я поинтересовалась, будет ли он связан с нашим Центром. «А что, у вас там работают друзья?» – опять не поняла докторица. А я не поняла ее удивления: как может Институт мозга работать отдельно от Центра психического здоровья человека? Она уже поднялась уходить, когда я напомнила ей обещание ответить: с кем она себя сама отождествляет? «С героинями коротких рассказов Чехова», – через плечо ответила она, тряхнув светлыми волосами.

Доктора вообще, как мне кажется, нас мало понимали, хоть и старались в меру квалификации и доброты. За пределами вопросов «в режиме монолога», больше похожего на допрос, оставалось почти все содержание внутреннего мира, многие наши мысли. И тогда мы решили их обнародовать: стали выпускать одну за другой огромные стенгазеты, где писали все, что думали о врачах, о больнице, о родственниках, о жизни, – фельетоны, статьи, стихи, которых оказалось у больных великое множество, даже у тех, кто постоянно молчит.

Для больных это было событие – публикация в газете, хоть и стенной!

Врачи просили у меня переписать тот или иной рассказ пациентов. Через несколько дней мы перевешивали стенгазеты в комнату свиданий, и родители, бывало, впервые открывали поэтический талант у своих детей.

Редколлегия подобралась породистая: статная, красивая Юля с азиатскими чертами лица, всегда в маниакале мечтавшая стать диктором телевидения и насмерть ругавшаяся с мужем. Назло ему заводила романы с кем-нибудь из мужского отделения, и все наши больные, включая санитарок и медсестер, передавали записки влюбленных, где они условливались о встречах. Юля с

гордо поднятой головой решительно отказывалась от уколов галоперидола и величественно отправлялась на выходные домой, где ее нещадно лупил муж-бизнесмен. Не знаю, давала ли она сдачи.

Томная грузинская актриса с известным именем тоже помогала нам, разрисовывая вольными мазками газету, что приводило в неистовое возмущение Юлю с ее аккуратными линеечками. Актриса ходила постоянно с плейером, плавно покачиваясь в такт музыке, словно пританцовывала. Похоже, ее вообще не волновало, где она находится: на презентации, номинации или в психушке. Порой она начинала говорить то по-английски, то по-французски. Муж ее был физик-атомщик, они очень любили друг друга, после выходных, проведенных дома, актриса лишь томно закатывала глаза, чарующе произнося: «О, секс!» И шла дальше покачиваться со своим плейером, как на волнах. Вообще маниакал почти всегда сопряжен с повышенной сексуальностью. Будто какие-то флюиды исходят от нас, влюбляя в нас встречных мужчин. В подъемах у меня всегда масса поклонников.

А у одной нашей девушки, Кати, было бешенство матки. К ней то и дело приходили разные парни и мужчины, и они занимались любовью прямо в подъездах соседних домов, о чем Катя, усевшись в курилке на мусорном ведре, с коротким смешком нам потом рассказывала, вызывая во мне чувство омерзения.

Но как-то я случайно застала ее одну у рояля – по телевизору звучала песня: «Осень, в небе жгут корабли, осень, мне бы прочь от земли». Катя слушала, уронив длинные волосы на рояль, и безутешно рыдала...

Газету мы назвали: «И смех, и слезы, и любовь».

Рыдания друг друга мы тщательно скрывали от медсестер и врачей, загораживая плотным кольцом плачущую – иначе ей грозил перевод в острую, поднадзорную палату, удлинение сроков пребывания в клинике. Чаще всех плакала Лера – сухонькая немолодая женщина. Она то и дело становилась в угол и неистово крестилась. Грех ее был в том, что к ней в больницу – только с разных ходов – приходили и немолодой муж, и молодой «друг». Лера не могла ни с кем из них двоих расстаться, потому и вымаливала у Бога прощения.

Стенгазеты вносили творческий, воодушевляющий импульс в нашу монотонную жизнь. Ведь большинство в больницах – не буйные, а «депрессанты» с застывшим, маскообразным выражением лица, безостановочно снующие из одного конца коридора в другой. Мне повезло: перед выпиской поместили в

одноместном номере «люкс», где я могла остаться наедине со своим внутренним миром. Как особый знак я расценивала гравюру у входа в «люкс»: детские игрушки, барабан и конь-качалка, забытые на ночь в клетке каменного двора. Знак песни Юры: «Мы души игрушек, заброшенных вами когда-то».

Свой мир был и у белокурой школьницы Светы, начитавшейся книг английского писателя Толкиена. Она жила жизнью своих воображаемых героев: писала о них сказки, вырезала из бумаги и раскрашивала. Стойко выносила припадки, когда валилась на пол и билась в судорогах.

Крики, вопли время от времени нарушали монотонный ритм жизни. Особенно пронзительно кричала худенькая, очень изящная девушка Оля. Она выскакивала из палаты в белом махровом халате, закрыв лицо руками, и отчаянно, истошно вопила: это она опять увидела лицом к лицу смерть. Сестры стремглав мчались к ней со шприцами. В промежутках она часами спокойно болтала со своим врачом, бесподобно пела под гитару, аккомпанируя себе, сочиняла прекрасные стихи. Но кошмарные видения не отступали.

А я уже поняла: наши видения, кошмары и бред разрушительны для личности, но могут быть и источником творчества.

# Депрессия

В подъемах я остро, нестерпимо люблю людей, запойно общаюсь с ними. В депрессиях наступает немота, я с трудом выдавливаю из себя банальности. И это страшно тяготит, как утрата правды. Утрата той полноты общения, когда я могу словом, беседой помочь человеку и понять его. В депрессии будто отключают почти все каналы восприятия, оставляя прожиточный минимум и – бездонную горечь об утраченном. В депрессиях я упорно хочу быть кем-нибудь другим (каждым, кто мне встречается): кассиршей ли в буфете, зубным врачом, секретарем в отделе, заклеивающим конверты – они делают что-то простое и нужное, в них нет пустоты, – но не хочу быть собой.

Деперсонализация – суть депрессии, как я где-то прочла. То есть утрата человеком чувства собственного «я». Это невидимый и оттого еще более мучительный процесс. Когда вырезают аппендикс или ампутируют руку или ногу – это зримо, это понятно. Это вызывает естественное сочувствие. А вот когда ампутируется сердцевина личности, тогда безмолвный, безысходно отчаянный крик принадлежит только самому кричащему, и услышать его кому-то другому просто невозможно. Мне-то еще повезло: остаются буковки – хрупкая лодочка в океане бессмысленности. Я научилась и это скрывать под бодрой улыбкой, идя уверенной походкой. В первую депрессию в Ганнушкина два месяца подряд победно, лучезарно улыбалась на обходе с одной целью: выбраться отсюда и покончить счеты с этой жизнью. Жутко страдала при этом от своей неправдивости. Но правдой был бы только один крик.

Может, депрессия – это предельный эгоизм? Когда концентрируешься только на своей боли, механически и с тоской преодолевая реальность.

«Счастливая, ты книгу можешь читать», – вздохнула одна девочка, тоже находившаяся в глубокой депрессии. Я не стала ей объяснять, что уже час держу открытой книгу на коленях, не в силах связать две строчки.

В депрессии все то, что казалось волшебным, многозначительным, ликующим, становится обыденным, тусклым, тоскливым, даже зловещим.

Я не знаю, зачем и кому нужны эти перепады, эти качели. Я не знаю смысла своего предназначения, когда в очередной раз рушится мир, и я становлюсь блеклой, запуганной копией того существа, которое всех «вдохновляло».

Я даже не знаю, истинна ли моя любовь к людям, если она

сгорает яркой вспышкой, сменяясь мраком собственной запуганности, боязни людей. Это два разных существа: я в депрессии и я в подъеме. Они друг с другом не встречаются, разве что под крышей этих вот страниц. Ведь начала я писать – в подъеме, продолжаю – в депрессии.

# Просто Юрка

Конечно, ему в лицо и никому другому я напрямую не открывала эту тайну – что Юра и есть Христос. Начнутся паломничества, чудеса и вся эта канитель. В целях воспитания в нем антигордыни строго произнесла ему: «Я очень надеюсь, что ты не Христос». Он настороженно хлопал глазами, а восторженные тетки продолжали нести ему горы религиозной литературы с экстазом посвященных... Мне это претило: «Да никакой он не Христос!» – хотя бы потому, что Христос ведь не ругался со своими учениками, даже зная наперед, кто из них его предаст. А Юрка, когда старшие ребята после конфликта с ним уходили, каких только слов он вслед им не слал. А сам зимой бродил по городу, прижав к груди шапку ушедшего от него Генки. И молил меня свести его с ума.

Куда уж больше, подумала я. Это еще никем не описанная отцовская любовь не к своим, кровным, близким, а – порой даже более сильная – к чужим, дальним детям. Любовь, сродни разве что чувствам Януша Корчака в нашем веке.

Философ Ильенков, когда его ребятки ушли от него, предали, покончил с собой. Это стало последней, решающей каплей – все остальное, включая травлю в институте философии и в печати, он еще мог бы вынести.

Я диву даюсь, как такой умный, талантливый человек, как Юра, оказывается совершенно беспомощным в решении взрослых вопросов. Наверное, дело в том, что ему так и осталось «как всегда, двенадцать» – так отвечает взрослый герой в сказке Крапивина на вопрос о возрасте. Он так и не ушел из детства, из сказки. Я тоже стараюсь ее не предавать, даже ценой психушек и депрессий.

Я не скрываю: да, мы – сказочники, причем не в том смысле, что иногда пишем сказки, а сказки эти творим, как пирог, печем из реальности, словно волшебным фонарем освещаем свой путь – возможно, и для других.

...А когда я ночью, инкогнито, как в карете, подъезжала поездом к Туапсе, где жил Юрка, на море был дан грандиозный бал: по всему горизонту выстроились освещенные корабли, отбрасывая в море снопы света, как отсветы канделябров на огромном черном мраморном полу. Я не сообщила Юре о своем приезде – не знаю почему. Поезд свернул в горы, и мне открылось царство моего Короля Гор. Вернее, Волшебника: Юра и впрямь обладает некими мистическими способностями, которым не придает особого значения. «Волшебник Зеленых Гор» – так

назывался мой очерк о нем.

...Ну и пусть будет книга-уродец, я далека от художественности. Книга-костыль, с помощью которой если и не победить болезнь, как Зощенко в книге «Сила разума», то хотя бы разобраться с ее истоками.

...Помнишь, Юрка, как в горах, когда я добралась до твоей экспедиции, мы сидели в полиэтиленовом домике (от дождя твой стол был укрыт прозрачной пленкой). Кстати сказать, это и был наш единственный и больше не повторимый домик, да и то ты мне мягко не велел наводить на столе порядок – «потому что дети свободны даже в своем беспорядке, порядок должен сам собою вырасти у них», ну и так далее. Тут уже я возражала, лирическая беседа заканчивалась, и начиналось то, что ты называешь «кухней» – наши «педагогические разборки». Чую, что за множественными проблемами мы так никогда и не доберемся до своей личной судьбы. Да, так вот, в том прозрачном доме, в который тарабанил дождь, я жаловалась, что не могу написать книгу. А не могу написать, потому что у меня нет целостности своего Я.

Теперь я знаю, что опыт может получиться, у меня есть эта цельность: цельность моей болезни. Здоровой я просто не могла остаться, пусть маменька с папенькой прекратят свой спор, чья наследственность виновата в моей болезни. Мы с девочками в Крымском Центре пытались выяснить, за что нам такая доля. Одна из собеседниц сказала: «Бог наказывает безумием избранных». Конечно, лестно быть избранными, но уж лучше бы – как все. Без этого наказания.

Нет, лукавлю: я смутно ощущаю свой путь, на котором даже обвалы депрессий не накрывают меня целиком мутной водой обыденности. Хотя искус очень силен – уклониться с пути. Например, соблазн утратить все свое волшебство, весь свой запутанный разноцветный мир за одну только недельку обычной будничной жизни в семье, где все любят друг друга. Но Юрка плохо смотрелся бы под абажуром, он ему чужероден, его стихия – лес, горы. А я не могу спать в палатке. Это смешно. А если серьезно, то вокруг нас словно очерчены два круга – не приближаться, не заходить дальше черты. А может, мы просто боимся друг друга, боимся сказать простые и неимоверно трудные слова в глаза друг другу.

Иносказательно, в сказках, рассказах, письмах мы уже все сказали, мы тщательно продумали, и я даже описала в газетной заметке, какие занавески будут у нас на окнах, раздуваемые ветром с моря, а Юрка добавил, что на скамейке, утопающей в цветах белого табака, будет стоять пишущая машинка. «Что нам

стоит дом построить, нарисуем – будем жить». Нарисовать – можно, только жить не получается. Что же, пусть рисуют себе по нашим чертежам более удачливые. А мы пошлем им ветер с моря, чтобы занавески раздувать. Все подарим, все раздадим, всем поможем, как сможем, а для нас двоих – только две минуты, взгляд друг на друга на вокзале. И потом полгода жить этими минутами. Что делать, если зайцы все время тонут, и надо их спасать в переполненной лодке Деду Мазаю. А тонущую Офелию спасать бесполезно – опять топиться пойдет. Хотя плавать умеет, в отличие от зайцев.

# Владимир Анатольевич

И опять Бог послал мне утешителя. Наша первая беседа началась с осторожного: «А верите ли вы во вторую реальность?» Я так же осторожно ответила: «Точно не знаю. Но вот Бергман, особенно в своем фильме „Фанни и Александр“, показал переплетение этих реальностей». Послушав историю про Юру и Леонтия, который в ту пору ужасно орал на меня (я еще не ушла тогда от него – это было до катастрофы), он сказал: «А стоило ли менять шило на мыло?»

Из всех людей Владимир Анатольевич Раюшкин, ведущий научный сотрудник Центра, наверное, глубже всех знает меня теперь. Он бесстрашно окунулся в волны моего бреда, я сама обо всем каждый день докладывала ему по телефону в очередном приступе, удивляясь, зачем он так дотошно меня расспрашивает, выходя за рамки обычного общения с пациентом. Он ответил: «Хочу знать все закоулки вашего подсознания». Мужественное решение. Ведь, по моим понятиям, в этих закоулках и у психиатра крыша поехать может. Втихаря подарил мне даже фарфоровую принцессу из сувениров в кабинете. Еще будучи в больнице, я расцветала, едва увидев его в коридоре, и он останавливался на минуту-две (он не был моим лечащим врачом, а вел меня вне больницы, амбулаторно) и всегда говорил что-то приятное – о фасоне платья, о прическе. Он стал настоящим другом. Мы перезваниваемся, бывает, в день по несколько раз. К тому же я постоянно писала ему письма (это у меня привычка такая – письма, как правило, безответные). И какое же было счастье, когда он стал отвечать мне!

К своим запискам я его приучила еще в больнице: от нечего делать и от вечного желания заниматься важным делом, сидя в поднадзорной палате, я писала на длинных листах о том, что надо знать дополнительно психиатрам в области педагогики, психологии, философии, чтобы правильней лечить. Всерьез воспринимал эти записи только Владимир Анатольевич, жадно пробегал их глазами, не понимая: «Это что, ключевые слова – все эти фамилии, школы?» – «Нет, живая реальность». Мыслей об усовершенствовании психиатрии у меня было так много, что меня заперли на ключ, чтобы не мешала. Тогда я стала совать листочки прямо под дверь поднадзорной палаты, и они разносились ветром по всему отделению, приводя в неистовство санитарок. Когда мне разрешили ходить по коридору, я первым делом направилась к двери заведующей и подсунула записку в щель. Там шло совещание, кто-то рассмеялся: «Опять послание от Марины

Владиславовны, от кого же еще?»

Сестра-хозяйка, когда появлялся полупьяный сантехник или столяр, сразу бежала за мной, тот от моей строгой вежливости немного трезвел, улыбаясь во весь рот: «Вот для нее я все сделаю». Я всех хотела рассмешить, растормошить, убрать дистанцию между врачом и больными. Например, когда в отделении появился кто-то из самых главных и грозных начальников, я побежала за ним вприпрыжку и на лету вставила ему в нагрудный кармашек листок со словами «Куку». Он только успел фыркнуть. Все хохотали.

У Владимира Анатольевича прекрасное чувство юмора. Не будучи в стационаре, я приходила к нему на прием и, если была не в депрессии, мы так оглушительно хохотали, что Владимир Анатольевич делал мне панические знаки.

Так вот, письма я писала с самых юных лет: сворачивала бумажки трубочкой и засовывала в щели улья. Писала пчелам и деревьям, цветам. Потом людям, чаще всего не отправляла, но и на отправленные редко приходил ответ. Я усаживала школьную подругу в кресло и кормила пирожными, только чтобы слушала мои записи.

Вот почему я была счастлива, увидев почерк Владимира Анатольевича в своем дневнике.

Правда, такая короткая дистанция с больным тоже может быть чревата: в какой-то момент нашего разговора по телефону (я сидела в ванной) он вдруг отчаянно заголосил, что все кончено, он не психиатр, он может теперь только поднять лапки и крутить хвостиком – и передал трубку Александру Николаевичу, моему лечащему врачу. Мы поговорили с Александром Николаевичем в обычном жанре допроса, уточнили схему лекарств – и только. Ни я ему, ни он мне больше были не нужны. А нужен мне как раз такой вот врач, теряющий, как ему кажется, квалификацию ради того, чтобы глубже понять больного изнутри. На мой взгляд, это говорит как раз о высоком профессиональном, человеческом уровне квалификации в психиатрии.

Вот и прыгнул конь буланый
В этот омут окаянный...

Не знаю, преследует ли он какие-то научные цели в этой переписке, в нашем плотном общении – по моему мнению, лишь самые минимальные, все остальное – общение чисто лечебное и чисто человеческое. Что жаль, ибо я люблю отливать золотую пыльцу общения в слитки статей, книг, концепций, диссертаций.

Еще в начале моего пребывания в Центре доктор Мазаева

возмущалась: «Вы нам ломаете все схемы!» Но, может, это схемы такие, которые надо ломать?

Во время официального обхода, обставленного благоговейным молчанием, я дергала за полу халата какого-нибудь главного профессора и спрашивала: «А вы знаете, какое самое главное чудо на свете?» – «Какое?» – живо поворачивался тот ко мне. – «А то, что завтра будет – утро!» – «Точно?» – переспрашивал профессор. – «Точно», – кивала я головой, а сама думала, что в этом мире ничего точно прогнозировать нельзя. Все мои выходки психиатры терпели.

Единственный раз я видела разъяренным Владимира Анатольевича – это когда по радио передавали интервью со мной о том, как у нас в больнице прошел референдум по Ельцину – помните? – «Да – да – нет – да». Было очень весело: мой лечащий врач Александр Николаевич, накрученный Раюшкиным, настойчиво твердил тогда, как это может повредить моей репутации!

Я никогда не скрывала свою болезнь ни в редакции, ни в кругу друзей и не могла разделить с ним его ужас. Я оценила горячность, сердечность тревоги Владимира Анатольевича за мою жизнь в «миру», вне стен его «обители». А вообще меня удивляет, почему так мало люди знают о душевных болезнях, почему эти проблемы интересны только в связи с заключением диссидентов в больницы? Ведь душа есть у каждого, как зубы или горло, и точно так же она может заболеть, правда, несравнимо больнее, чем зубы или горло. Непонятна мне и замкнутость, закрытость психиатров, как какой-то касты жрецов.

Я крепко подружилась с Владимиром Анатольевичем, он стал для меня близким и дорогим человеком, но мне, например, так и не удалось затащить его к себе на день рождения: «А в качестве кого я там буду?» – «В качестве моего друга и моего доктора». – «Нет, не могу. Это может повредить вашей репутации». Он никак не мог поверить в то, что не только моим друзьям, но и руководству редакции эта «репутация» хорошо известна и дела не меняет.

Еще один врач, побывав у меня в редакции, с ужасом округлила глаза, увидев репродукции Чюрлениса на стенах. «Немедленно уберите, – зашептала она, – он ведь тоже был душевнобольным». – «Ну и что?» – «Могут понять, что вы такая же». – «Это только сделает мне честь!»

Когда кто-нибудь из друзей к слову обмолвится: «Ты чего сегодня такая красивая, с ума сошла?» – я радостно подтверждаю, что у меня и справка есть. И собеседник конфузится – по-моему, совершенно зря. А когда я распекаю молодняк, то это мой козырь:

«Пусть я сошла с ума, но у меня хоть справка есть, а вы вот больные, но не лечитесь».

# Как я была бабушкой

Сама же я всячески ломала эту закрытость. Я, например, обожала общаться с родственниками больных, без спроса входила в комнату свиданий, а девчушки называли меня то второй мамой, то даже бабушкой. «Да, – убедительно кивнула, взглянув на меня, юная восточная красавица в длинном, до пола, бархатном халате с вышивкой, – это моя бабушка».

«Бабушка, подними шпильку, а то я ручки запачкаю», – обращалась она ко мне. «Внучке» было уже лет двадцать. Когда я рассказала этот эпизод ее маме, та схватилась за голову: «Я так и знала, я чувствовала, что это бабушка так ее избаловала, что довела до болезни, до постоянных депрессий!»

Молодежь особенно грустно видеть в этих стенах. Одна подсаживается ко мне и просит, как Маленький принц летчика в пустыне: «Я ничего не знаю и не умею. Научи меня рисовать». Она только что блестяще сдала сессию, перенапряглась, от чего и заболела, но спорить с ней бесполезно. Я рисую какой-то цветок, девушка отрицательно трясет головой и забирает рисунок: «Нет, ты неправильно нарисовала». Идет искать того, кто научит ее рисовать правильно. Эта мысль тоже одна из спутниц депрессии: я ничего не умею, все что-нибудь умеют, а я не умею ничего.

Жажда правильной, совершенной жизни во всем, чтобы ты ни делал, тоже может довести до болезни. Одна девушка уже не раз попадает в клинику потому, что хочет делать все на «ять». И сына растить, и дом вести, и работу выполнять. А на «ять», как она считает, у нее не получается. Когда мы с ней в тихий час провернули целую операцию по сдаче стеклопосуды, я ей говорю: «Вот ты и справилась на "ять"». – «Нет, – отвечает она, – я только исполняла, руководила ты. Я бы не смогла». И дальше шли привычные вздохи. Неужели жажда совершенства тоже может стать манией?

# Родом из детства

Депрессия усиливается. Свидетельствовать депрессию – вот все, что мне остается. И постигать смысл: зачем мне дан этот путь вспышек и сгорания души, почему я с детства не совпала с плавным, не катастрофичным течением жизни? Помню, в детстве я подолгу наблюдала за движениями продавщицы мяса – она была до краев полна простым этим действием, так слитна с ним. Конечно, слов этих я еще не знала, но меня поразило и очаровало это фундаментальное спокойствие. В отличие от меня – «несомненность живущих». С тех пор я часто приглядывалась к людям, не отягощенным печатью раздвоенности, брала на вооружение их повадки. Потому что у самой с детства не было этой слитности. Помню, мне лет пять, стою во дворе (мы тогда жили в селе), с недоумением разглядываю фантик от конфеты «Счастливое детство», а там какие-то дурехи на качелях качаются, и поражаюсь неправде взрослых, выдумавших себе для приятных воспоминаний это «счастье». А рядом со мной, вертящей фантик, мальчишки, намотав длинную веревку на шею тощей кошки, со всего размаха раскручивают ее и бьют головой об угол сарая. Я парализована: как вмешаться? Один из изуверов тоном глашатая объявляет всем, что кошка сия разорила птичье гнездо, и, значит, эта казнь справедлива. Я знаю, что это чудовищно, но у меня нет слов, чтобы объяснить и прекратить это. Поражала спокойная, никакими противоречиями вроде не обремененная жизнь окружающих. А тут кутята в деревянном сортире кричат, их просто выбросили, чтоб утопить. Ну, кутят-то я вытащила, и мы их с девчонками отмыли и откормили. Тут страшнее другое: равнодушие, привычка к тому, что гибнут живые существа. Один знакомый писатель сказал, чтоб я выбросила этот кусок про детство: он банален, через это все прошли. Может, и банален, но я вот – не могла просто так пройти. Я решила отказаться жить в такой жизни, где убивают кошек и топят в сортире кутят. Из смутных разговоров слышала, что кто-то из взрослых бросился под поезд, мне же было пять лет, а значит, высчитала я, мне подойдет что-то поменьше – велосипед, например. То, что меня спасут, в мои планы не входило, главное было – броситься.

Ох и перепуган был почтальон, развозивший почту на велосипеде, когда я забарахталась у него под колесами. Сбежались все соседи, бранили почтальона, и никто так и не узнал правды, даже родители. Став постарше и оставив попытки суицида, я все же сочинила для себя фразу: «К мысли о самоубийстве нужно привыкнуть, как к домашним тапочкам».

Это была тайная внутренняя речь. Разделить мне ее было не с кем. Бога не было, как сказали мне мои родители, это только темные старухи в церковь ходят по привычке. Церковь у нас была через дорогу, и мы часто наблюдали, словно театр, церковную жизнь. Лишь одна моя бабушка, с Волги, деревенская (вторая была городская), когда я со всем пылом научного открытия в какой-то ее приезд заявила: «А Бога нет! Там спутники летали и ничего не нашли», ответила с добродушным спокойствием: «Ну и пусть летают, а Бог все равно есть». И такой покой исходил от ее полной фигуры, так уютно лежали руки на животе, что мне эта простота ответа запала в душу, хотя и защищалась я от нее тем, что бабушка, конечно же, отсталая.

С тех пор свидетельствую: кроме нее, жившей отдельно от нас, ни один близкий мне человек (книги – не в счет) так и не сказал мне простых слов: «Бог есть». А как светло могла бы тогда сложиться жизнь моя! Или это я только теперь так думаю?

Вот еще одно противоречие детства: папа работал на селе (тогда в села посылали из города отряды механизаторов) большим начальником. И вот в один вечер во двор дома стала въезжать машина, груженая углем. Это папа, пользуясь «служебным положением», хотел подбросить казенный уголь домой. Мама коршуном на него налетела. Водитель растерялся и наехал на молоденькое деревце, которое так и осталось расти под углом к земле. Когда меня просили в больницах рассказать случаи из детства, я вспомнила это скособоченное деревце, а еще как мама нас походом против отца водила. Психиатры слегка раздражались, что я опять заговариваюсь. А я не заговаривалась: мама построила нас с сестрой шеренгой, научила маршировать (мы репетировали до прихода отца) и скандировать перед ним: «Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой».

Я преклоняюсь перед маминой чистотой и непоколебимой честностью, ее презрением к незаконным, нечестным действиям, но все-таки в том случае он был очень жесток, этот поход. Помню растерянное, побледневшее лицо молчаливого отца, в которое я старалась не смотреть.

Когда я была еще в Ганнушкина, он уехал в Усть-Илимск подработать, с мамой они уже давно были разведены. Я часто в мыслях окликала его песней про Усть-Илимск: «…Оглянись, неприметной таежной сосной уж давно я стою за твоею спиной». Ночью в темном холле я колдовала, чтоб они опять стали вместе, мама и папа. И однажды я чуть не вскрикнула от радости: на диване рядышком сидели две фигуры. Но когда включили свет, никаких фигур там и близко, конечно, не было. Корчак писал, что дети долго хранят на груди разорванные стяги семейств. Я даже и

сама не знала, что так долго. Может – всю жизнь.

Я же отчетливо помню тот фантик и свою твердую решимость, раз уж не удался случай с велосипедом, вырасти, все запомнить и рассказать взрослым настоящую правду о детстве. Может, потому я пишу все время о воспитании, о детях, что глубоко внутри сидит наказ той недоумевающей девочки, которую мне пока нечем утешить.

* * *

Была у Владимира Анатольевича Раюшкина, он сказал, что я живу в идеальном мире, который от столкновений с реальностью все время разлетается на куски. Что ж, тогда несколько вариантов: забраться высоко в свой хрустальный дворец, чтобы никакая реальность туда не добежала; второй – выбросить все эти алмазы-изумруды и смешаться с толпой. Но я выбираю третий путь: расширять и расширять пространство идеального, оставаясь с людьми, зарождать его в любой точке, где нахожусь, чтоб всем, даже незаметно как, но становилось светлее.

Я уже не так наивна, чтобы отрицать в мире зло (это просто в моем мире его нет), недооценивать его мощь. И потому будут новые и новые развалины, депрессии. Страшно? Очень. Но у меня нет другого пути. Александр Мень дал мне ориентир, что Царство Божье и сейчас является среди людей, когда им светло и хорошо, его только нужно уметь замечать. Но, Боже мой, неужели в моем случае за этим светом каждый раз следует новое распятие? Впрочем, депрессия – это еще не крестные муки. Нам, людям, не дано даже представить, что чувствовал на кресте Распятый.

* * *

Пришел мой любимый ученик Павлик, прочел написанное, сказал, что книжка нужна. Значит, надо писать. Тем более что ничего другого делать просто не могу.

* * *

А я их все равно украла, и не для мамы, как она решила, а для себя. Просто очень, очень понравились, когда мы были у маминой портнихи: зеркальце в узорной пластмассовой оправе и часики. Украла и спрятала под диван. Когда портниха пришла к

нам, я тут же туда полезла, чем и выдала себя. Зеркальце мы с подругой раньше перепрятали под саж (это такой домик для поросенка), и она долгие годы меня шантажировала, что всем расскажет.

Я так и не раскаялась, но тащить вещи перестала, помня о мамином смущении и желании во что бы то ни стало меня защитить. Пыталась я нащупать и совесть… Когда родителей не было дома, я на вешалке стала шарить по их карманам, внимательно вслушиваясь, когда во мне заговорит «голос совести». Ничего не услышав, решила, что никакой совести нет, это опять ее взрослые придумали. То же и с красотами природы. Я никогда в детстве не умела ими любоваться, они были для меня чем-то вроде мертвых декораций. Я ужасно комплексовала от этого, поддакивая окружающим в их восторгах. В мире, где нет Бога, детям выжить очень сложно. Себя я представляла каким-то пыльным резиновым мячиком, который забросили в игре за наш каменный забор, в заросли крапивы, да так и забыли. Кто бросил, во что играли – неизвестно. Забыто. Но как объяснить эту заброшенность врачам, когда они спрашивают о детстве? Мне теперь уже кажется, что я всегда была больной. Поэтому история моей болезни перерастает в историю моей жизни.

* * *

Господи, как она мне надоела, и жизнь моя, и болезнь моя, да и книга эта тоже. Согласна с Сальвадором Дали: если выбирать между написанием еще одного шедевра и одним днем, но прожитым со всей полнотой бытия, то он выбирает день, а не шедевр. Может, это потому, что у него шедевров куры не клюют, а у меня их вовсе нет? Да и не надо. Я жить хочу…

* * *

Я в кровь сбила коленки, вымаливая, перед тем как лечь в больницу, у Девы Марии хоть кусочек возможной жизни для себя. Ковер был жесткий, колени потом долго не заживали, но помню, что готова была ползать вечность, чтобы вымолить прощение, то ли за свой, то ли за чужой грех. За все то, что мы все натворили. В чем он – я плохо понимала. Но твердо знала, что он есть и он чудовищен. Вот так я ползала дома по ковру около часа, а все равно нечем было дышать, негде было жить, некуда приткнуться – пока я не забралась под журнальный столик, сжалась вся и

поняла: прощена. А дальше, пожалуйста – зовите санитаров, тащите вязки, – это уже не важно.

Девчонки в больнице потом с ужасом смотрели на мои колени, а я отвечала им скромно: «У Матери Божией прощение вымаливала». Ничего, что говорило бы о моем особом предназначении, не было. Да и сейчас я считаю себя не мученицей, не избранницей, а просто более живой, что ли, чем большинство. И потому периодами – более мертвой. Ни знамений, ни откровений в детстве не было, только однажды было что-то похожее в березово-золотой роще, где само золото словно шептало и шуршало на ветру. На меня снизошло нечто, что точнее, чем словом «благодать», не назовешь. А так – ничего идеального, возвышенного я в своем детстве и отрочестве найти не могу – только неистребимая жажда этого возвышенного, только журнал «Юность» с зачитываемыми до дыр Евтушенко, Рождественским, Вознесенским. Они наши кумиры, их поэмы звучали со всех школьных сцен, это у взрослых был Солженицын, для нас же «Иван Денисович» стал историей. Мы, промежуточные – между шестидесятниками и семидесятниками, и нам так никто и не сказал в конце оттепели, что «лафа» кончилась, мол, разъезжайтесь по домам, ребята. А мы ведь не просто в Москву учиться, мы к тем на помощь спешили, приехали и обнаружили полную пустоту. Нам и тут ничего не сказали – а ведь именно в эти дни, летом 1968 года, совсем рядом с нами, с журфаком МГУ, куда мы поступали, на Красной площади стояла Лариса Богораз со товарищи. Да что там, у меня самой парень служил в армии, участвовал в чехословацких событиях, и в августе, когда я поступила в университет, а он демобилизовался из армии – мы встретились, но, убей бог, не помню, о чем мы говорили. Все мои мысли были направлены на то, заметит ли, оценит ли он мою губную помаду (впервые накрасила губы). Я была самая обычная, разве что слишком доверчивая и простодушная. И никаких этаких способностей, которые мне потом приписали.

# Крестовый поход детей

Не познакомься мы осенью 1968 года с Валерием Хилтуненом, Хилом, сидеть бы мне сейчас не в депрессии, а, быть может, в ладном доме с ладным мастеровым Хозяином да приглядывать за множеством детишек. Впрочем, зная свою авантюрную натуру, я в этом не уверена. А вместо этого...

Конечно, в то время пойти спасать коммунистические идеалы могли только дети и горстка взрослых, тоже «свято веривших». Вот мы и пошли. Взрослые в Ленинграде в конце пятидесятых разработали теорию, методику, как вырастить коммунаров, и мы пошли их растить. Самим-то было по семнадцать-восемнадцать лет. Чувствовался некий надлом, надрыв в этих наших намерениях. Я пыталась слинять от Хила на свидания, назначая их на месте наших сходок, чтобы продемонстрировать ему, что свидания это естественно, а сходки его искусственны. Так я сохраняла критичность разума, пока меня не вывезли в Пермь, на юбилей местной коммуны. И там вроде ничего не случилось: погода была отвратительная, нас потащили к какому-то очередному революционному памятнику, которые у меня уже в печенках сидели. Но потом...

Потом из каких-то штрихов, деталей, из радостной атмосферы, добрых улыбок и красивых песен родилось новое чувство, и лед моих сомнений растаял. Люди вправду становились братьями друг другу за три-четыре дня, и невозможно было на заснеженном вокзале разорвать наш круг, поющий под гитару:

Становятся помехою
другие города,
Опять друзья разъехались
неведомо куда.
Прости, не знаю имени,
но это – не беда.
Возьми меня, возьми меня
в другие города.

...Не знаю, чем это объяснить, но, впервые оказавшись в «психушке», я передала Хилу: тут как на сборе. Понимаете, какое-то качество энергии, густой и плотной, чувствовалось и здесь, и там. Только в больнице работали очень уж топорно – да и цель была другая. А наш Хилтунен, как теперь говорят, «косил» под

Владимира Ильича – даже его почерк уже невозможно было отличить от ленинского. Мы устраивали коммуны в обычной общаге МГУ и потом в общежитии для иностранных студентов, куда нас поместили на втором курсе в качестве «эталонов советских девушек и юношей».

Как бы смешно это нам самим не казалось, но так, вроде бы, и получалось. Первым делом мы там наладили у них коммуну: детей шейхов и прочих султанов научили мыть тарелки с обеих сторон, а не с одной только, что их несказанно удивило; потащили всю ораву в кинотеатр «Баррикады», где у нас был свой коммунарский клуб. Никогда мне не забыть наш разношерстный, бесшабашный, воодушевленный, разноязыкий молодежный круг общения, в котором казалось, что совсем скоро – коммунизм, причем на всей планете. Мы решили с Муной из Иордана и Лили Кожман из Израиля – стран, воевавших друг с другом, – специально поселиться вместе в одной комнате в качестве иллюстрации коммунистического интернационализма.

А потом я ходила к Муне в больницу, когда та свихнулась от всего, что у нас увидела, утирала слезы Лили, когда та обнаружила, что на демонстрацию у нас загоняют силой, отпаивала валерьянкой девушку-смуглянку из Судана, когда ее назвали в такси «черномазой». Им было еще трудней, чем нам, мы-то пытались свести концы с концами, видя противоречия, а зарубежные коммунисты были воспитаны на том, что Советский Союз – это рай земной, готовое царство справедливости. Очень удобная учебная модель. Нет, мы не были «борцами за правду» – есть такой диагноз в психиатрии. Мы были мечтатели и пересмешники. Маршируя возле обкомов партии, скандировали: «Да здравствует наука, технический прогресс и мудрая политика ЦК КПСС!» Ни один милиционер не мог к нам придраться. Пересмешники, но не циники, как те, другие, которые были наверху в ЦК и которым я поначалу, работая уже в редакции, старалась верить. Но и там циниками были не все. Среди них у меня до сих пор осталось много друзей – таких же «подпольщиков» в комсомоле и партии, какими были мы, коммунары. Иван Иванович Зюзюкин, известный детский писатель и публицист, на недавнем праздновании юбилея «Комсомолки» сказал, что мне надо было бы родиться лет на десять-пятнадцать позже, – тогда я была бы аббатисой какой-нибудь обители, потому что всегда во что-нибудь верила – например, в коммунизм, в Бога... Я ответила, что вряд ли, потому что курю. А он пошутил, что тогда бы и курить в монастырях разрешили...

Так что если коммунизм – это безумие, то госпитализировать

надо очень многих, причем не только анпиловских «ряженых» с мегафонами на площадях, не озлобленную деклассированную массу, а тихих, но упрямых романтиков, большинство из которых раскаялось в своем отходе от Бога, в своих попытках самолично, своими руками превратить планету в цветущий сад.

Это был «бред реформаторства» и «сверхценных идей».

...Будучи привязанной к койке и вынужденная молчать, я пальцами ног выстукивала на спинке металлической кровати песню Володи Ланцберга:

Ребята, надо верить в чудеса,
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над горизонтом алые взметнутся паруса,
И скрипка запоет над океаном.

Мы пытались (а нам ведь не было и двадцати) спасти партию – нет, вру, начхать нам было на партию, – мы хотели сами, своими руками построить коммунизм. Для одних это кончилось психушками, для других – пожизненной травлей, для третьих – разрывом с родителями.

Отец Лены Беляковой, ответственный работник ЦК партии, выгнал ее в то давнее время из дома: «Не потерплю абстрактного гуманизма!». Это он к тому, что в наших законах было сказано: «Наша цель – счастье людей», «Живи для улыбки товарища» и так далее, но ничего не было о классовом подходе, о диктатуре пролетариата.

...Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал доехавшим до него марксистам: «Вот покажите мне свое коммунистическое евангелие – и тогда я в вас поверю». Я против того, чтобы переписывать священные книги, создавать новые религии и тому подобное. А вот свод нравственных законов – другое дело, его можно сочинять, особенно для детей. Ведь и Закон Божий можно в школах опять так преподавать, что очередной мальчик, как и Володя Ульянов, воспитанный в набожной семье, после конфликта с преподавателем закона этого выскочит без пальто на снег, яростно разорвет веревочку и растопчет крестик. Известно, что будет потом и с ним, и со страной.

По сути, мы и сочиняли что-то вроде коммунистического евангелия, сами того не зная. Попросту сказать, это законы жизни коллектива – они могут объединять и верующих, и неверующих детей, а собственный топорный «Моральный кодекс строителя коммунизма» пусть анпиловцы блюдут. Конечно, у Церкви тоже хватит сил для грамотных библейских книг для детей, но, может, пригодится и наше «евангелие» – детям так нужна «своя»

организация!

* * *

В общем, продолжаю свидетельствовать: пишу опять бред «социального реформаторства», находясь от всего этого в депрессии на даче. Я не отвлеклась. Я и в больницах все время об этом думала. Я, может, потому туда и попала.

Но меня удивляют многие мои знакомые и друзья, о которых словами Остапа Бендера можно смело сказать: «С таким счастьем – и на свободе». Один Хил чего стоит с его поисками Нового Света в расщелинах Гималаев! Так до Шамбалы и не дошел пока. Ничего, доберется. С собой носит постоянно блокнот, куда безостановочно записывает, что съел, что подумал, что услышал – объясняет, что археологам будущего облегчает задачу: исследовать, каким был средний человек в двадцатом веке. Только вот человек он – не средний, а некая помесь Маркса с городским сумасшедшим: в бороде и в валенках или в лаптях.

А вот, к примеру, мама моего воспитанника, медсестра клиники неврозов, сама себя обнаруживает периодически... висящей под потолком.

Другой пример: к другу Юры, архитектору и экстрасенсу Ильдару на массаж продолжает являться, уже с того света, Владимир Высоцкий и, как Ильдар говорит, все так же продолжает материться.

Я под потолком не повисла, с Высоцким не встречаюсь, Шамбалу не ищу. Они, выговорившись, расходятся по своим делам, а я, наслушавшись всего этого и пытаясь как-то все это увязать, опять оказываюсь в больнице. Хил, правда, навещает, передачи носит.

Он прятался за мою спину от нападок Гены Жаворонкова, известного нынче правозащитника, а тогда заведующего нашим школьным отделом в редакции. Понимаю, что для диссидента Жаворонкова мы все были безмозглые котята, замутнявшие своей коммунарской «сказкой» всю чистоту и трагизм противостояния Системе. Андрей Чернов, тогда еще начинающий поэт, доехал до нашего коммунарского лагеря в Карелии и сочинил две строчки:

Коммунары, камуфляжи...
Кому – нары, кому – пляжи.

...Господи, не пропадай, строчка, пишись, иначе мне – хана.
Жизнь, дай силы вытерпеть.

Я знаю: это пройдет. Однажды утром я проснусь, осторожно ощупаю себя изнутри, и почувствую – я *другой* человек. А сейчас я, нынешнее существо, задавлено немощью и страхом. На волю, к людям, выскочит другая. А та останется в казематах, пока в отведенный срок новая беглянка не свалится туда же со сгоревшими крыльями и в тех же лохмотьях, что и предыдущая.

Кому нужна такая жизнь, чему служат все эти вечные сгорания – мне неведомо. Вдруг мне пришли в голову строки: «Ступив на свою тропу, не спрашивай, куда она ведет, лучше еще раз убедись, точно ли это твоя тропа». В школах искусств и во всех прочих творческих заведениях детей надо бы предупреждать, что искусство – не вечный взлет, а чаще всего падения. Полное сгорание. Так что подожди, не надо резать вены в эти периоды. Но все равно ведь не скажешь: сгорай осторожно. Подвиг не в сгорании. Подвиг – жить после того, как ты сгорела.

Читать не могу, на улицу – тошно, лежать – спина болит…

Воистину Божий дар – умение выводить каракули: как ты там, Гарри, в чьем теперь облике?

А я – все та же, я все там же – в депрессии. Юра тоже неизменен – в горах. Сказал как-то по телефону, что выбираться я должна сама. Не сочти это жестокостью, как счел Владимир Анатольевич, просто тут на днях приходил мой бывший воспитанник из Политического лицея, говорит, что не устает себе и другим повторять мою фразу: все мы здесь, на земле, – только на задании, в командировке. И это воодушевляет уставших. Должно быть, так оно и есть.

В больницах я бредила, что бестелесные существа иного пола, да и вообще иные – другие, чужие – лезут к моим девочкам, пользуясь их незащищенностью разумом. И велела, если впускать, то только через комнату свиданий, только чтоб галантно приподняли шляпу, только выбрав свободное место на скамейке.

Мне Тамара Георгиевна рассказала, как однажды больная испытала оргазм безо всяких со своей стороны усилий. Они же, бестелесные, всюду сумеют пролезть. Да простят мне Махатмы, Великие Учителя Востока, но я и их появления боялась.

Юра «утешил», показав, как отличить галлюцинацию от реального существа: оттянуть назад веко, и если изображение не исчезнет – значит, не галлюцинация. Чудесный совет! Да я как увижу что-нибудь этакое – сразу в обморок упаду, до оттягивания века просто дело не дойдет.

Вот он, стоит у меня фотографией на столе. Но я не буду плакать, что его рядом нет. Потому что на соседней стене – фотография «Приюта шести» – так они назвали свой домик в горах в честь погибших ребят. А для нас с ним дороже детей

ничего нет. «Архипелаг ГУЛАГ» есть, но нет в массовом сознании погибшей Атлантиды детских клубов, коммун, секций. Они ушли под воду. Вот уже первые археологи появились: некто Роман Синельников ведет запись всех коммунарских песен, откапывает историю коммунарства, издает сборники.

Это целая субкультура – коммунарство – со своими песнями, гитарами, законами, речевками. Но никаким словом не передать, что мы чувствовали: свежие, подтянутые после бессонной ночи, когда вышагивали летом вдоль открытых окон, откуда несся храп и сопенье, а мы шли мимо, и с Калининского проспекта взлетали в небо голуби, розоватые от восхода солнца. Мы залезли на крышу киоска возле метро Краснопресненская и пели, обнявшись, песню на стихи Светлова:

Вот в предутреннем свете,
Над землею горя,
На красивой телеге
Выезжает заря.
Не уснем мы, товарищ.
Надо нам обсудить,
Как на эту телегу
Всех людей усадить.

«Обсуждать» в отделении милиции пришлось совсем другое, когда нас сняли с крыши. Но и это не испортило нашу песню, и крышу, и розовых на утреннем солнце голубей, взлетавших с пустынного проспекта. Нас была горстка, но мы верили, что переменим этот мир со временем, а из окон на рассвете будет нестись не храп, а хорошая музыка.

Эка невидаль – описать собственную юность. Откуда же тогда эта печаль? Нет, не оттого, что не сбылось. Юности и положено быть несбыточной. А оттого, видно, что все это для меня воплотилось в болезни, что те рассветы обрушились черными дырами мрака, небытия, депрессий. Что мои друзья остались верными своей юности, реализуют свои проекты, а я все сижу над очередной грудой развалившегося даже не Дворца, а просто постройки и не знаю, как мне жить дальше с этой болезнью. Каждый час, каждые два часа – как жить?

Хотя понимаю: депрессию надо изживать, проживать, переползать на тот, живой берег, к нашим, к живым...

...Как-то раз я проснулась в диком, цепенящем ужасе: «Мама! Людей нет!» Был ли это сон или видение, не знаю. Но ужас был огромный. Моя находчивая мама не растерялась: «А вот мы есть с тобой, нам больше никого и не надо». А мне было так даже очень

надо. Мы с юности мечтали всех людей в свою телегу усадить. Шут с ней, с телегой, лишь бы люди были живы!

На наших собственных планетках – дома, семьи, круга общения – кое-что получилось. Все говорят: «Ах, какая свобода, какая атмосфера». Но земшарик нам не доверили. И правильно сделали. Мы бы его подарили детям, а те бы такое устроили! Корчак это уже описал в сказке про Короля Матиуша.

* * *

Владимир Анатольевич, знакомясь со мной в Центре, пытался выяснить, есть ли у меня друг, которому можно позвонить и в два часа ночи. А я твердила, что не понимаю, почему нельзя подождать до утра. Отчаявшись, доктор резюмировал: «Значит, так: у вас есть муж (я тогда была замужем за Леонтием), а все остальные – друзья?»

«Правильно», – обрадованно кивнула я.

Правда, он, наверное, не понял: друг в нашем смысле не тот, с кем выпивают, а кому звонят, когда есть дело. И только при встрече уже – объятия, поцелуи. А так – мы даже не шлем друг другу писем.

Хоть давно мы не виделись, старче, – плевать.
Каждый шаг, каждый вздох твой мне слышен
за тысячу тысяч локтей.
Ты молчи, ты тихонько греби,
Ты под солнцем тогдашним потей,
Может, снова на нас снизойдет синева.

Мгновенно собрать деньги, выехать на помощь, разрешить конфликт на месте – это мы можем. Но не умеем лечить депрессию. Не знаю почему, но я остаюсь практически одна с болезнью помимо мамы, доктора и еще пары ребят, кому могу жаловаться по телефону. И то – это мне везет!

* * *

Сейчас почувствовала себя теткой в зеленом халате, которая то и дело переплетала жидкую косицу и, покачиваясь на своей кровати в Ганнушкина, безостановочно бубнила, едва увидит белый халат: «Доктор, подойдите ко мне, я вам расскажу кое-что интересненькое. Это история всей моей жизни. Не пожалеете!» Ее

даже никто уже не замечал, да и говорила она, уставившись в пол. Ладно, хватит о больницах, пора опять о друзьях.

* * *

А ведь, выходит, правильно нас громили и закрывали обкомы, райкомы и прочие КГБ за сектантство. Мы и были сектантами новой, более живой, чем ортодоксальная, коммунистической религии. А те, кто с нами боролся – ортодоксами. Не моя мысль: в той России коммунизм никогда не был подлинной наукой, хоть и зубрили его во всех школах, он всегда существовал в форме религии. Поэтому с такой яростью, поражающей советологов и современных интеллигентов, народ-богоносец крушил купола и кресты. В этом, по-моему, была не слабость и поверхностность веры, а, наоборот, ее сила – сила веры в нового Бога – в человека. На развалинах храмов хотели возвести новую религию. Это мироощущение хорошо знакомо мне самой и моим соратникам: мы все мечтали быть Доном Руматой из романа Стругацких «Трудно быть богом». Для нас они своими героями-звездолетчиками заменили иконостас в невидимой, глубоко в сердце хранимой «церкви».

Внешне это был просто круг ребят, сидевших у свечки, что и дало формальный повод обвинить нас в сектантстве. До серьезного анализа огромной мощи коммунарства дело не дошло: разогнали с десяток коммун да запретили употреблять в печати этот термин, вот и все.

Я же считаю основой болезни – и своей, и многих – именно уход от Бога под этаким детским флагом: «Я сам!». И планету спасу, и людей накормлю, вот мы сейчас в нашей собственной ООН соберемся с ребятами и все решим. И тебя, Боже, конечно, не забудем: будешь ты у нас тут в почестях и славе. А пока не мешай, дай порулить!

* * *

К столу! Когда ускользает уверенность из-под ног, когда начинаешь барахтаться в страхах – к столу. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей, страдающих моим недугом, лишены самой этой возможности – выкрикнуть, выразить свою боль.

От их имени я и пишу.

Да нет, вру, слезь с трибуны! Я лишь продолжаю свидетельствовать свою болезнь. Ни от чьего имени, кроме

своего.

У меня есть жизнь, и я ее играю!

Но тогда выходит, вся моя жизнь – это болезнь? И история болезни и есть история моей жизни?

* * *

Мое очередное раздвоение началось в седьмом классе – с отчаяния. Первые два класса я проучилась в деревенской школе, а все последующие – в городской, элитарной, английской. Сколько было стыда, страданий и мук, когда я попросила в школьном буфете коржик, а одноклассницы презрительно поправили: «Это не коржик, а курабье». Я сидела тихая, забитая, боясь даже повернуться к нравившемуся мальчику, сидящему сзади, а Танька Шевченко, знавшая мои сердечные тайны, то и дело дразнила меня, что сейчас все ему расскажет. В общем, положение стало таким невыносимым, что классе в седьмом я решила взбунтоваться – и откуда что взялось! Может, верно говорил один профориентатор, что основное мое призвание – актриса. Я стала громче всех хохотать, удачнее всех шутить – и стала душой класса. Но эта была видимость. Забитый ребенок во мне так и остался, я просто закрыла крышку погреба. С тех пор мне всегда удавалась эта роль «души компании», организатора и вдохновителя, но я-то знала, что это нечестно, в душе оставался зазор той тихони, которая не смела мне мешать, но была, очевидно, лучшей моей частью. Много позже, уже в университете, мне попалась статья Лиды Графовой в «Комсомолке» и – как крапивой обожгло. Называлась она «Быть или казаться». Я-то всю сознательную жизнь наедине с собой задыхалась именно оттого, что приходилось казаться, а не быть. Потом я сменила термин – игра. Уверенно вышагивая, уже взрослая, по начальственным кабинетам, я говорила себе: «У меня есть жизнь, а я ее – играю». И хлестала себя своими же стихами:

...Актриса, лжесвидетельница, лгунья,
Мне роль не доиграть, не долюбить.
Лишь по вискам восходит новолуньем
Отыгранная правда седины.

Я горько плакалась старшим товарищам, что они вот, шестидесятники, – честные, всерьез живут, а я раздвоенная, не цельная, играю, а не живу. Плакалась, а потом поняла, что они сами этот разрыв в себе просто не замечают, забыли и потому не

видят свою театральность.

Так вот, именно в помешательстве, в маниакале эта раздвоенность почему-то исчезла, я ощутила себя цельной и, надо сказать, от болезни к болезни, выныривая из депрессий, становлюсь все тверже в этой своей цельности. Будто намывается песок под ногами, и почва твердеет. Или это я все более заболеваю? А в депрессиях становлюсь более жалкой, чем та девочка, все эти годы просидевшая в погребе?

* * *

...Ну и пусть, пусть это будет лишь графомания, я и не скрываю свой шкурный интерес: зарыться в заросли букв от реальности, которая в депрессиях невыносима.

Спрятаться, скрыться – и все же свидетельствовать те дорогие мне образы, которые можно назвать произволом моего воображения. Когда есть силы, то я отчаянно, мучительно люблю людей, ловлю малейший повод пообщаться с ними. Это тоже, наверное, из опыта коммунарского утопизма: на сборах каждое лицо, даже незнакомое по имени, становилось безумно интересным, притягивающим. И не только на сборах.

У меня в Москве была коллекция подъездов – с вычурной лепниной, огромными фонарями в чугунной оправе, куда я часто приходила, чтобы просто послушать сквозь стену плесканье воды, когда моют ребенка, его лепет и фырканье. Заглядывала в окна на первых этажах, чтобы увидеть захватывающий сюжет: кусочек чужого бытия.

Мне и коммунарство было дорого именно тем, что там подразумевалась любовь к дальнему, а не только ближнему человеку. В юности в своих клубах мы мечтали жить общим домом, общим подъездом. Да и не только мы – вот и Дом нового быта, по примеру коммун тридцатых годов, строился в Москве, но новый быт не состоялся, здание отдали под общежитие аспирантов.

Но с нами останутся наши сны. Мы их расскажем детям – может, у них что-нибудь получится?

* * *

Явно становлюсь графоманом: уже неважно, что писать, важно писать, иначе весь мир рассыпается опять бессмысленными осколками. А так у жизни есть форма – слово.

* * *

Гарри подарил мне облака. Когда ясно стало, что не увидимся, «мы» решили, что он будет посылать ко мне облака.

Юра подарил деревья. В день моего отъезда из его горного лагеря после ливня поднялась вода в реках, он куда-то бегал, привез вездеход, и такой зеленый, сияющий взгляд у него был на фоне леса, что я вдруг по-новому увидела деревья – не массу стволов с кроной и скучной корой (я любила цветы, не деревья), а каждый ствол в отдельности, каждую чешуйку и застывший танец ветвей над ними. Облака и деревья – не так уж мало.

Один молодой человек яростно доказывал мне, что для жизни этого мало, что вообще так, как я, жить нельзя.

А я вот живу.

Иначе не получается.

Я старалась, и не раз.

# Как чисто, как звонко мы кончимся

Эту фразу я написала в самый ликующий, звонкий период любви с моим Учителем, Симоном Львовичем, еще до заболевания. Я увидела это как на картинке – с охапками жасмина вбегаем в комнату, в которой я жила в детстве, отражаемся в зеркале, и зеркало – вдребезги. И нас больше нигде нет. Это ведь лучше, чем кончиться по капельке, как в песочных часах или в капельнице.

Почему-то именно в самые счастливые минуты любви с моими возлюбленными рождались строки о прощании:

> В белых густых ромашках хлещет шальной дождь.
> А у меня однажды был молодой муж.

Я прощалась с ними загодя, когда любовь еще царила на сцене, когда она еще не превратилась в сварливую нищенку, просящую стертые монеты былого богатства.

А с тем, другим Юркой, Щекочем, кто снился мне потом всю жизнь, мы в совместной, такой далекой теперь жизни не сказали друг другу о наших отношениях ничего. Бродили по Москве с друзьями, говорили о газете... Я как-то обиделась, что он меня не замечает, и, глянув в вечернее небо, громко сказала: «Вот улечу». Он немедленно развернулся ко мне и очень строго, даже свирепо сказал: «Я тебе улечу!»

Когда же бесконечные переезды (у нас не было своего жилья) ослабили струну любви, он сказал только чью-то фразу: «Куда же потерялся он, хрусталик дня в начале мая?»

Наш с ним дом всегда был полон людей. Он, который, как мне казалось, меня почти не замечал, собрал однажды народ, а в конце заявил: «Сегодня вы были на нашей с Мариной свадьбе». Он словно чувствовал, что в тот вечер я опять хотела от него уйти. Ах, как же я любила провожать его на рассвете в командировки, глядя вслед с балкона. Он шел упруго, собранно, не оглядываясь, а по обе стороны от него взлетали вспугнутые голуби. А то вдруг заявил однажды: «Я поехал в Коктебель к своему камню заряжаться вечностью». Чем-то это меня очень обидело. Я «усадила» на стул его плащ, приделала сверху его фотографию, когда же он позвонил, что долетел нормально, сказала ему о своих приготовлениях и что сейчас бить его буду. Через три часа он стоял на пороге, обнимая меня: «Ты с ума сошла!»

А однажды, обидевшись на бесквартирье, а еще больше на то,

что его это совершенно не волнует (мещанством он считал даже подметание пола у него перед глазами, так что я должна была дожидаться его ухода), я ушла ночевать к подруге. Он поставил условие, что я должна вернуться к такому-то часу. Я не вернулась, мы расстались.

В отделе нас очень хотели помирить. Гена Жаворонков потащил его ко мне на день рождения, но он и там себя вел так, будто меня вовсе нет. Я передала гостей подруге, стремительно стянула шубу с вешалки и умчалась к Учителю, который только накануне меня провожал, и целовать ему себя я не позволила. Тут же он и сам удивился: «Ух, как быстро мы оказались в постели». К Юрке он ревновал всю нашу совместную жизнь. И зря. Каждая моя любовь – первая и настоящая. Просто с изначальной горчинкой какой-то, ибо я с детства почему-то знала, что так сильно, как мне необходимо, меня никто не полюбит.

Один только Гарри, которого нет.

Просто мне с детства втемяшилось, что любовь – непременно с первого взгляда, и сразу под венец, и радостное ожидание ребенка. Мне это казалось очень естественным. Но мои избранники явно не спешили в загс, перспектива отцовства их не радовала, тут бы мне и уходить, но я каждый раз решала остаться и влюбить избранника так, чтобы он забыл все страхи. К загсу все так и было. Я и сама надеялась, что все у нас получится. Но, видимо, я не могла внутри себя простить очередному мужу его изначально «несказочное» поведение. А может, моя любовь была неглубока…

Главное – наступала минута, когда я жестко говорила себе: «Опять не тот». Что значило: надо продолжать поиски. Вот и сижу теперь без семьи, без детей, в болоте депрессии, лишь фотография «несбыточного» – на столе. Петр Положевец, мой друг и главный редактор «Учительской газеты», спросил у меня, тот ли это, к кому я стремилась всю жизнь? Я твердо ответила: «Да». Но в депрессии я и этого не знаю. Знаю только, что искать я больше не буду, что жизнь без Юрки кажется мне сплошным туманом, а жизнь с Юркой – висением над пропастью.

* * *

И все-таки, они все живы в музее моей души – драгоценные невянущие цветы каждой любви. Просто не стоит во имя следующего чувства топтать, принижать остальные. Я семь раз была замужем. Юра шутит, что это мой педагогический отряд. Да, они все мои друзья, даже больше – родные люди. И неважно, кто

был прав, кто нет, кто больше любил, кто меньше, важно лишь одно: любовь – была. Я очень радуюсь, когда мои бывшие мужья женятся. Правда, не все. Один из них сказал мне: «После тебя трудно жениться».

Заварю себе еще кофе, зажгу сигарету и буду дальше писать, чтобы не плакать. Вытру слезы.

* * *

Последний, Леонтий, сказал, что я создана для любви, потом стал мучить меня по хозяйству, чтобы я в чистоте содержала металлическую посуду, потом ужасно засуетился, поняв, что это не для меня и спасти нас может только творчество. Усадил за предыдущую книгу, сам выстроил ее композицию. У него было мало денег, но он всегда покупал мне удобные дешевые вещи. Только самоубийца может отказаться от такого мужа и избрать бродягу, который у меня в рамочке на столе. Все внимание Леонтия было поглощено мной, все внимание Юры будет поглощено детьми. Но я ведь тоже их люблю.

* * *

Надо выбирать человека из своей стаи.

* * *

Золотой у меня Владимир Анатольевич – я ему сказала, что пишу книгу о своей болезни и ужасно боюсь, что допишу ее, потому что тогда – только головой об стенку биться, а он мне ответил, что всегда подбросит новую тему.

Вообще-то женщины затюкали сейчас мужчин совершенно несправедливо. Если сдержан и целомудрен – значит, «голубой». Если весельчак и душа компании – значит, бабник. Я только сейчас, на своем примере, начинаю догадываться, какие у них прекрасные, любящие души и как жестоки мы ко всему тому, чего не понимаем в них и не можем понять, просто потому, что они – другие. И в психушках «от любви» не только женщины лечатся. (Любовь, по-моему, – основной «диагноз» психушек.) Чаще всего мужчина для женщины – объект охоты. Вот это я точно по себе помню: охота. Почему-то с глубокого детства я была уверена, что меня саму по себе никто не полюбит. Может быть, дело в детстве.

Мама, считавшая всю жизнь, что страдает от своей красоты и гордости, ни разу не похвалила меня, и я чувствовала себя дурнушкой, а сестру мою мама подхваливала, и та выросла в полной уверенности в своих чарах. Так что на «чары» свои я не полагалась. И на любовь «с первого взгляда» тоже нельзя было определенно рассчитывать, вот и решила искать сама. ...Завораживать, завоевывать...

Встреча с Юрой, как мне казалось, помогла мне понять суть настоящих, честных отношений мужчины и женщины. В каждом письме – писала я ему каждый день – давала честный отчет, правду ли я сказала в том или в ином случае или подсознательно все-таки хочу ему понравиться.

* * *

Юрка, давай возьмем тайм-аут у текста и просто повспоминаем. Как мы сидели у тебя в Орехово-Борисово на кухне и наговориться не могли, как твоя тетя Вика приходила нас разгонять, как ты прищелкивал пальцами, докуривал мои окурки. Юрка, неужели нам осталась лишь память?

А помнишь, мы гуляли по пирсу в Туапсе, и ты подарил мне охапку сирени, сказав, что никому раньше сирень не дарил и вообще цветы дарил только в самых исключительных случаях. И еще сказал, что у нас с тобой каждый вечер – как выпускной. И еще сказал, что так видишь мир только со мной и с ребятами. Я поняла, что ты имел в виду, – это когда все вокруг имеет свой смысл, и видение цельное, и ни одну деталь не просто не хочешь, но и не можешь пропустить, прохожих слышишь, даже если идешь по другой стороне улицы, и когда мгновенно понимаешь раскладку любого конфликта, драматургию любой группы людей (а тогда уже можно вообще не действовать, а так просто – платок уронить, оно все и устроится). Мир проницаем, его смысл ясен для тебя, открыт. Но не чтобы описывать его и создавать новые теории или религии – а чтобы просто ехать в этом автобусе, человеком среди людей, выйти на нужной остановке, уже среди новых людей, войти в метро... То есть: жить, как все живут, но с некоторым более острым, чем у других, обзором видения, масштабом мышления. А теперь я тебе скажу, что такое видение стало для меня постоянным только после последнего приступа, и это постоянство даже утомляет, я к нему не была готова, я не знала, как с этим жить, и постоянно твердила: «Хочу быть как все. И чтоб все было как всегда».

* * *

Прошу тебя, не отвлекайся, как я, не клади веточку сирени в гербарий, держи ее в своей руке, ибо для меня наша жизнь грозит опять стать гербарием; депрессия – это смерть любви. Даже очень сильной… Но потом, если любовь настоящая, она вернется с еще большей силой. Ну вот, тайм-аут не удался, слишком интересные мысли в голову пришли.

* * *

Мы же каким-то нюхом находим друг друга во всех наших «стаях». А сколько их было, этих стай, и счесть невозможно! Но каждый раз мы стремились именно к этому: к расширению картины мира в сознании ребенка и ее гармонизации (я не умею плеваться, как ты, от занудных слов, поэтому просто пользуюсь ими, когда они подходят по смыслу).

Сам понимаешь: я хочу найти смысл и цель моего сумасшествия, надеясь, что оно тоже чему-то служит, какому-то развитию. Мой младший друг Паша Зайцев сказал, что я своими текстами даю людям дышать – тем, кого осталось не так уж много. Что я проводник света и прочие хорошие вещи, когда я рыдала ему в телефон от тщетности и неуместности моей жизни.

* * *

На похоронах Листьева я увидела по телевизору заплаканное, растерянное лицо Гурченко. Ночью мне приснился сон: должен был состояться сбор актрис. Я зашла за Гурченко. Она, не успев снять, опять надевала перчатки, раз надо куда-то идти. Я не знаю, что у них там было, на сборе этом. Я только видела, что все они смертельно устали. Помню, что во сне той же ночью за мной «закрепили» Татьяну Доронину.

* * *

Санитарки в психушках похваляются своими пациентами: «Танечка Самойлова как сыграет роль – так сразу к нам». Психушки давно стали бытом для многих семей. Печальной, привычной необходимостью. Психические болезни – заурядными расстройствами в числе прочих.

Я же упрямо хочу докопаться до причин, почему и зачем у меня все-таки крыша поехала и никак на место не встанет. Какой в этом смысл? За грехи? Из тех, что называют «ошибками молодости»? Один из священников хватался за голову: «Они ко мне идут с одним и тем же: блуд, блуд». Он даже изобрел теорию, что дети реализуют подсознательные желания взрослых. А раз война разлучила мужчин и женщин, то сексуальные потребности ушли в подсознание. Вот выросшие дети и взбесились. Мы в свое время ни о чем таком не думали, просто первая волна сексуальной революции накрыла именно наше поколение, чье отрочество и юность пришлись на шестидесятые. Все запреты были сняты как старомодные. Новые нормы еще не были созданы, все стало можно с каких угодно лет. В нашем поколении все-таки существовал некий предел: до восемнадцати – нельзя, а потом – можно. Поэтому мы с моим первым мальчиком (для нас первым был тот, с кем ходят на свидание и целуются в подъездах), имея идеальные условия для физической близости – отдельную хибарку, где была его мастерская, задвигали занавеску, раздевались и просто подолгу друг друга рассматривали. И никто ни на кого не кидался. Мы с чистой совестью поехали на зимние каникулы к нему в деревню, и я очень удивлялась, что на нас смотрели из всех окон, как мы шли, держась за руки. Поездка в Москву на слет победителей Всесоюзного конкурса школьных сочинений полностью расторгла и без того непрочный союз с Лешей.

Маме я рассказала о нашей поездке, но мне и в голову не пришло признаться, что мы целовались, да еще как. О целомудрии, потере невинности взрослые до сих пор, по-моему, не умеют разговаривать с детьми, поставив на место сказки про аистов учебное пособие про устройство половых органов. Вот и вся революция. Содрали покров тайны, сказки.

* * *

Так вот, в начале семидесятых мне позвонила знакомая журналистка, принимавшая участие в моей юношеской судьбе, и стала умолять, чтобы я спасла ее восемнадцатилетнего сына, направив его к Симону Львовичу Соловейчику в Переделкино, ибо только он один может объяснить, чем отличается коммунизм от фашизма, потому что мальчик готовит восстание. Сима устало согласился. К нему все знакомые родители слали своих девочек и мальчиков с их бесконечными конфликтами. Илюша приехал, они хорошо поговорили и разошлись, каждый при своих взглядах. Я

поняла, что «тащить» Илюшу придется мне. Я ходила за их ватагой вместе с психиатром Ильи, который считал, что Илью ведет мания величия, – я была другого мнения. Илюша уже, как он говорил, поднимал рабочие окраины. Тогда я завела с ним роман. Я искренне восхищалась им. И он мной тоже. Он сильно в меня влюбился. А я с тех пор не знала покоя ни днем, ни ночью, ибо Илья мне все рассказывал. Ожидая допоздна Илью, вслушивалась в шаги в подъезде: не идут ли его брать? Я очень хотела, чтоб они пришли. И я бы им все высказала: до чего они довели страну и детей, что лучшие из ребят готовы опять идти «на Сенатскую».

Они не пришли. Вместо этого Илью вызвали в органы, порекомендовали не заниматься политикой, расспрашивали и обо мне. Илья сказал, что я всегда агитировала его за коммунизм, что было чистой правдой. Говорил он мне об этом так торжественно, с бледным от волнения крупным своим лицом (он вообще был похож на Пестеля), что я рассмеялась. И тогда вдвоем еще с одним мальчиком из моего клуба они решили, что я – сотрудница КГБ, и мой клуб нужен лишь как приманка, чтобы слетались мотыльки. Мне стало тошно. На продолжение романа с ним у меня уже не хватало душевных сил.

Когда мы расставались, он сказал, что я такая же, как и все уличные девки. Я и это стерпела. Я признавала частичную правду этих слов. Теперь они конфузятся, когда я им напоминаю об этом, просят, чтоб я их простила, что они жизни не знали, я же думаю: не надо забывать ваш суд надо мной, не надо из-за незнания жизни снижать требования к чистоте и правде любви. Строже моих ребят меня никто не судил. И я благодарна им за это. И за то, что, вопреки моим опасениям, почти все они создали очень хорошие семьи.

Пригодились и мои советы. Все в клубе как один влюблялись в Женю Двоскину – хрупкую, прехорошенькую, с фигуркой вечного подростка. Она же надувала губки, когда очередной провожатый вызывался ее провожать, жаловалась мне: «Ну вот, опять всю свою биографию рассказывать». Узнавая об очередном поклоннике, отмахивалась: «А, это как корь, все должны переболеть». Вот такая ледышка. Когда же к этой девочке-подростку пришла любовь, а он, как на грех, любил другую, то мы часа три просидели у озера в Ботаническом саду, и я рассказывала ей то, что должна была рассказать мама, о чем принято у подружек шептаться по углам, а мы с Женей обсуждали совершенно свободно – вернее, это я говорила, а она впитывала, глядя в траву и теребя цветы…

* * *

Мне мой Учитель говорил: «Живем в грехе». – «Почему? – удивлялась я. – Ведь ты сам в наш первый вечер сказал, что тоже свободен». Оказывается, эта «свобода» значила вот что: когда гости в доме, то все вместе сидят за столом, а в остальное время папа живет в другом месте и туда никто из домашних не ходит: папа работает. Или как у моей подруги просто есть Старший муж и Младший муж. Я никогда не понимала и не принимала такие семейные отношения, я не хвалюсь – может, просто потому, что у меня не было детей. И все же для меня «жить не по лжи» начинается с самого сложного – с семьи. Иначе эта ложь так и не отлипнет всю жизнь.

Одна из старших наших девчонок-коммунарок, приехавшая из Челябинска с еще двумя парнями-коммунарами (потом оказалось, это был любовный треугольник), стала советоваться с Женей Двоскиной и Сашей Фурманом, делать ли ей аборт, те пришли ко мне с полными ужаса глазами: как, убить живое? Про себя я тогда подумала: тоже нашла, у кого спрашивать, они ведь жизни не знают. Теперь я понимаю, что лучше не знать жизнь, сидеть в башне из слоновой кости с вмонтированным в ней маяком и светить тем немногим, которым еще нужен и важен свет не только для рыбной ловли. А эта самая жизнь, которую мы не знаем, пусть себе устраивается как хочет, наше дело светить.

* * *

Меня не покидает чувство, что с детства меня ведут, переплетаясь, две силы, пронизывая меня – как два крыла, как две ветви: черная и белая. Черную можно назвать чувственностью, страстью, похотью, белую – любовью. Я знала, что черную в себе надо убить, растоптать, но я думала перехитрить ее и просто всю эту мощную энергию каким-то образом перевести в белую. И общение с Юрой меня к этому подталкивало. Но главный путь шел через лабиринты больниц. Мне даже кажется порой, что меня ведут по какой-то крутой лестнице: когда приступ (то есть бред) – это горение, сгорание, вспышка, затем спустя некоторое время опять депрессия, а за ней – ступень, оказавшись на которой, обнаруживаешь все меньше и меньше черного в себе, оно-то и сгорает. Белое – крепнет.

…А в последний раз в бреду явился «хозяин». Властелин. Он каждый раз являлся, но его-то я и забывала. Он был Властелином – в общем, вел себя, как прежние секретари обкомов в своих

лесных домиках или теперешние мафиози (временная оболочка тут не важна). Этот приперся из времен Тараса Бульбы. Ему надо было угождать, а еще ему, если не ошибаюсь, нужна была я. Мама хитростями и угощениями отвлекала его внимание, а спасла меня Галя Положевец, жена моего друга, она просто легла со мной, и Властелину было сказано, что место занято. Уж не помню, но как-то он испарился. А всю ночь, пока это происходило, я твердила маме: «Ну пусть же он зайдет, я же знаю: Юра – в прихожей».

«Встань, посмотри сама», – отвечала мама. Но я это воспринимала, как какую-то очередную ее хитрость.

...Наутро мама удивилась, почему я на нее со злостью смотрю и называю на вы. Мне, правда, довольно скоро пришло в голову, что никого она не обслуживала, а просто уже которую бессонную ночь дремала с больной дочерью. Может, все это и происходило в каком-то там измерении, но бейте меня, режьте на куски – в прихожей стоял Юра! Даже если он сам этого не знает. Даже если это просто измерение моей мечты.

Я верю: если в моих мучениях тебя не было, Юрка, то тогда, значит, в той прихожей был Гарри. Гарри, которого нигде нет, кроме моей души.

# Та, Которая Есть

И вот я опять сижу на даче. Жара, июль. К рукописи не прикасалась три года, ибо Сашка Фурман (Фур, Фура) разнес ее в пух и прах. Сколько, говорит, можно туда-сюда из депрессии в подъем бегать (маниакалов у меня давно уже нет), и вообще, надо писать не «я», а – «она». Ему хорошо, он роман выпустил, который так и называется: «Книга Фурмана». О детстве своем с младенчества: Фурман встал, Фурман пошел, Фурман покакал... Так у него же направление такое – «новый реализм», а у меня – всего лишь, очевидно, «искренний сентиментализм», который, по словам Михаила Эпштейна, должен прийти на смену постмодернизму. (От скромности я не умру.) Впрочем, Олег (бывший муж), работающий в журнале «Вопросы литературы», сказал, что вещица моя – премиленькая (он даже назвал сию повестушку превосходной), и заявил, что жанр для нее в литературе, оказывается, уже есть: называется «человеческий документ». Документ так документ, человеческий – и на том спасибо. Но после фурмановского разгрома я была безутешна...

* * *

Спасибо Борису Минаеву – он меня спас. Явился вчера (мы соседи по дачам) и сказал, что вещь замечательная (или что-то в этом роде), но надо дописать концовку. Вот пишу...

Если депрессия опять не нагрянет – напишу вторую часть книги – «Та, Которая Есть». О том (и тех) удивительном, что помогало мне выздоравливать. Кстати, и Инна Павловна Руденко (обозреватель «Комсомолки» и мой друг), и Раюшкин (психиатр, мой лечащий врач) в один голос твердят, что вот-вот моя циклотимия выдохнется, годам к пятидесяти, это точно. А сейчас мне – сорок восемь.

В журнале «Огонек», где Борька зам. главного редактора, прочитала, что существует пять симптомов гениальности; так вот, два из них у меня есть: высоколобость и циклотимия. Осталось всего ничего: парочка-тройка каких-то там синдромов. Ну, какие наши годы!..

*Засим остаюсь Вечно Ваша*
*С поклоном,Марина Заречная*
*(естественно, псевдоним)*
*Дача, поселок Мамонтовка*
*по Ярославской железной дороге,*

*Московская область.*
6 *июля 1999 года*

# Нет и не будет

Прошло время.

*Разговор в приемной клиники на Каширке с Владимиром Анатольевичем Раюшкиным:*

– Ну, что случилось?

– Я устала.

– От чего?

И почти одновременно оба произносим:

– От самой себя.

– Так и запишем.

(В историю болезни, вестимо.)

С облегчением узнаю, что мой случай МДП все-таки неизлечим.

Еще пригодилась формула Владимира Леви, что есть три категории больных: психически больные, душевно больные, духовно больные.

Так вот, иногда, чтобы душе спастись, она вынуждена уходить в психоз. Что и случилось со мной тогда, в апреле 1981 года.

Вот и все. Свобода?

Меня могут не лечить – я неизлечима. От винта! Можно завершить дурацкую эту книжку, не дожидаясь выздоровления. Смело ставлю в эпилог песенку Вероники Долиной:

...А советские сумасшедшие
Не похожи на остальных....
Нет, советские сумасшедшие
Не такие, черт побери!
Им Высоцкий поет на облаке.
Им Цветаева дарит свет.
В их почти человечьем облике
Ничего такого страшного нет.
Уезжаю на дачу писать.
Уже под своей фамилией. Не темно ли вам на дороге?
Я бегу, я спешу – извините меня.
до встречи.
*Фрези Грант,*
*Бегущая берегом моря*

Ну что же, делать было нечего – надо было жить. Или, как говорится, ничего не сбылось, кроме жизни. А это не так уж мало. N'est pas?[1]

# МЕЖДУСЛОВИЕ

Ольга Мариничева (Марина Заречная) оказалась очень опасной женщиной. Познавшая обе стороны добра и зла, как она говорит, хитро «играющая в жизнь», а не живущая жизнью, она своей книгой выдавила из себя уважаемого журналиста и превратилась в одночасье в законченного и отпетого писателя. Бойтесь! Ее книга туманит взор и усыпляет мозг, уводя расползающееся сознание читателя в непролазные дебри подсознания.

О чем ее книга?

Обо всем. В первую очередь о главной героине – о себе. Это и дневник, и оправдание, и желание вернуть прошлое и прошлых. В определенном смысле это и учебник для начинающих докторов, и ликбез для любопытных. Это и целебная микстура, когда не важно, что писать, главное – писать. Отсюда и изящный сумбур повествования, и исповедь с элементами этакого душевного стриптиза похлеще «Низких истин» Кончаловского. В этой связи я бы назвал стиль «Исповеди» рефлексирующим мовизмом (вспомним «Алмазный мой венец» Катаева).

Ее поразительное умение экспериментировать над собой (впрочем, как и над читателем), достойное противопоставление себя невзгодам и болезням, поиск всевозможных способов помощи себе и докторам действительно делают возможным превращение истории болезни в историю жизни.

Ее жизнелюбие, торчащее и кричащее из каждой буквы «Исповеди», – очевидно. Говоря, что депрессия – смерть любви, Мариничева забывает, что в свою очередь любовь – смерть депрессии, а недостатком любви, как мы знаем, автор не страдает.

Цель сумасшествия – разнообразить сущее (даже ценой страданий), снять с него флер рутинности, выявить неординарность и преодолеть шаблонность, что с увлекающей увлеченностью и делает Мариничева в своей «Исповеди».

Противоречивость повествования «Исповеди», связанная, очевидно, с разными периодами переживания автором своих трагедий и радостей, отражается и на противоречивости оценок побочных героев. В. А. у нее то дружественный доктор, беспредельный в своем благородстве и таланте, то юродствующий в невежественном бессилии понять очевидные житейские вещи, туповатый халдей, которому педагогиня Мариничева постоянно что-то втолковывает.

К сожалению, она не избежала соблазнов пойти на поводу у

обывателя, говоря о больнице как о «психушке», где она отсиживалась на нарах за всех коммунаров (простите за неуместную рифму). «Когда караван поворачивает, хромоногий верблюд всегда оказывается впереди» – гласит восточная пословица. Кому как не такой тертой журналистке, пишущей на педагогические темы, позволено знать, как действует слово, которое и было в самом начале. Отсюда вырастают и «шизики», «дурка», «дурдом». Отсюда же идет стигматизация, отталкивание обществом человека по признаку нездоровья. Так что пошире оттяните веки, не падайте в обморок от увиденного и называйте вещи своими именами.

*Владимир Раюшкин,*
*Ведущий научный сотрудник НЦПЗ РАМН,*
*Кандидат медицинских наук*
*Памяти Тамары Георгиевны Никулиной,*
*заведующей 12-м отделением*
*психиатрической больницы имени Ганнушкина*

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*Без страховки,*
*поправ осторожность и страхи,*
*на Вселенских качелях*
*раскачиваюсь, как на весах.*
*Если есть в том вина,*
*пусть душа,*
*как весной захлебнувшийся*
*парус,*
*без остатка растает*
*в единственных синих глазах.*

# «…И с этим можно жить»

*Весна 2004 года, НЦПЗ РАМН*

Прошло время. Оно не молодило даже Фрэзи Грант. К тому же, в отличие от литературного образа, моя реальная героиня (то есть я сама) бегает вовсе не по волнам, а, скорее, вдоль берега моря. Там же, где и пегий пес. Это в лучшем случае. А в обычном, как сейчас, – по коридорам клиники.

В общем, как сочувственно утешает няня в «Дяде Ване» профессора Серебрякова, у нее самой «ноги так и гудут, так и гудут».

И вот сидит слегка престарелая Фрэзи с гудящими ногами на бережку у кромки моря – то есть в очередном переходе из депрессии незнамо куда в родной психушке (простите, доктор Раюшкин, в Научном центре психического здоровья) – и опять оживает… И думает о дорогих ее сердцу людях. О метаморфозах их судеб и образов.

… Поседевший Грей нашел свою Ассоль (даст Бог, окончательную), живет на съемной квартире и продолжает судиться с Греем реальным, то есть литературным: кто из них двоих настоящий. Как мой Грей утверждает, тот, другой, из сказки, делал чудеса все же не совсем своими руками. Корабль и алый шелк для парусов он закупил на средства, подаренные богатой матушкой, а не на собственные деньги.

Принц на белом коне (тот, который был в изначалье моей болезни и книжки) стал лихим атаманом, поет с девичьим хором в своей станичной школе казачьи песни, а его молодая жена учит парубков казачьим пляскам.

Бархатный плащ Королевича, отливавший прежде черным жемчугом, поизносился и сгодится теперь разве что на портьеру в домашнем театре, когда сей достойный молодой муж образумится и заведет семью.

Король Зеленых Гор, он же Волшебник, он же просто Юрка, тоже состарился и работает теперь исключительно перевозчиком Дедом Мазаем для тонущих зайцев с одного берега лимана на другой. И очень уж болит на старости лет спина. Нет, вы не подумайте, что он окончательно постарел: у него прежние длинные музыкальные пальцы и голос остался прежним, так что иногда он поет под гитару свои песни в прибрежных хижинах (до дворцов бывший Волшебник так и не добрался), но исключительно ради продуктов зайцам на прокорм. Берет натурой.

Звездолетчик Гарри исправно служит серебристым

памятником у въезда в поселок Мамонтовка над заросшим зеленой ряской прудом. Администрация поселка аккуратно освежает серебристую краску к праздникам, до пруда руки не доходят.

В общем, все ключевые персонажи Театра моей души несколько поистрепались, потускнели, а то и сменили образ. Их на самом деле очень много, даже белый халат Доктора мелькнул среди рыцарских плащей и королевских мантий. Просто обо всех лень рассказывать: «ноги так и гудут, так и гудут».

Но главное, чем я хочу поделиться, так это утешительной вестью, что все мои герои живут долго и счастливо и умрут в один день. (Даже если многих из них чисто физически уже нет со мной.) Ведь это герои Одной Сказки.

Все отдадим, и по бережку, бережку
Смутной дорогой прибудем в Закат.
«Здравствуйте все! Мы у вас еще не были.
Что вы хотите нам рассказать?»
Выслушав все, мы по бережку, бережку
Светлой дорогой вернемся в Рассвет.
«Здравствуйте все! Смерти нету и не было.
Здравствуйте все! Вечно здравствуйте все».

Итак, сидит себе очень уставшая Фрэзи на бережку и с удивлением наблюдает за новым персонажем: это лысое чудо-юдо появилось здесь как-то совсем не сказочно – по дороге его ограбили разбойники, так что сюда он прибыл пешком вместе с толстенной собакой по имени Герда на поводке. Кабриолет остался в руках разбойников. Но он первым делом заявил Фрэзи, что готов возить ее в инвалидном кресле. «А что, может быть, и придется», – подумала бывшая Фрэзи, размышляя над его предложением руки и сердца.

* * *

Центр психического здоровья также за время моего знакомства с ним не помолодел: в душевых от грибка на потолке в нашем третьем отделении образовались пегие залысины, в коридоре физиотерапии отваливается с потолка плитка – говорят, скоро во всем здании будет ремонт.

Стены старятся потихоньку. Но по-прежнему свежи чудесные гобелены в гулкой сквозной галерее второго этажа, связующей все корпуса с библиотекой, внутренним храмом, кинотеатром и

прочим. Правда, имени автора гобеленов уже не знает никто, даже психологи, ведущие занятия по арттерапии (недавнее новшество). Но в извивах галереи все же сохранились бюсты профессора А. В. Снежневского, который выстроил этот Центр и вскоре умер, и его преемника, тоже вскоре умершего.

Что делать – шторма времени, тем более на перекрестке тысячелетий, тем более в эпоху наших нескончаемых революций, реформ и войн, треплют на износ не только людей, но и каменные стены.

Мое третье отделение, пока меня не было, совсем заросло цветами и декоративными растениями, будто тропики. На стенах добавилось гравюр, эстампов и картин – подарки пациентов. Одна стена полностью расписана райскими сказочными зверями и птицами – работа художницы (тоже наша пациентка), принимавшей участие в росписи Храма Христа Спасителя.

...Когда нападает очередная депрессия и я жалуюсь Владимиру Анатольевичу, что весь мир для меня – чужой, он по-своему интерпретирует это ощущение: «Просто очень много ваших людей уже ушло». Отчасти он прав: уже не только многих близких старших друзей проводила, но и ровесников, пятидесятилетних – Юрку Щекочихина, Александра Степановича Паникина, Сашу Афанасьева...

Только сегодня заметила, как поседел и сам Раюшкин. Но по-прежнему у руля наша вечная завотделением Донара Антоновна, и дама-профессор хоть с палочкой, но приходит каждый день. Растет врачебная молодежь, иные уже на моих глазах «остепенились», стали мэтрами...

Когда я после трехлетнего перерыва снова попала в эти стены, то, видя знакомые лица нянечек и медсестер, спрашивала: «А вы меня помните?» – «Конечно, помню», – отвечала каждая из них. И вправду, здесь нас помнят всех в и лицо, и по имени больше, чем мы сами – их. Здесь – не чужой, здесь свой мир.

Выписываясь, «первичные больные» не говорят «до свидания», примета такая. Они уверены, что никогда не вернутся в эти стены. Но большинство – возвращаются. Я поняла: в случае душевной болезни не надо рассчитывать, что она вот-вот или вообще когда-нибудь закончится. Слишком горько потом разочарование. Откуда болезнь приходит, почему и когда уходит – сие неведомо, природа душевных заболеваний по-прежнему тайна, сколь бы ее ни разгадывали разные светила и научные школы во всем мире.

Донара Антоновна не устает повторять: «Мы здесь лечим не болезнь, а лишь снимаем остроту ее симптомов». В ответ на чье-нибудь очередное отчаянье: «У меня шизофрения!», «У меня суицидальный синдром!» (это когда то и дело следуют попытки

самоубийства даже без каких-либо объективных причин) – неизменно следует ее уверенное, твердое: «И с этим можно жить!».

А для меня сейчас, после пятидесяти, это так важно: приходить туда, где – помнят. И в стены, которые ты сама помнишь до последнего эстампика, и к тем же цветам, чтобы видеть, как они подросли, вошли в силу...

# Из жизни в жизнь перелетая

Итак, стояла осень. Сентябрь. Прошла почти половина отпуска, а я так и не решила, как его провести. Конечно, как всегда, притягивал Туапсе, Юрка... Но разговор с ним по телефону до смерти обидел: он осторожно признался, что в случае приезда боится очередного «полтергейста» – так он называет мои маниакалы. (Хотя кто ж их не боится!) В итоге решила ехать в Подмосковье, в дом отдыха «Софрино» – благо он был по прямой ветке электрички от моего дома. Стояли солнечные дни. А вышло, что еду в депрессию.

Может, к ней изначально подтолкнули та обида на Юрку да еще бессонная ночь перед отъездом, прошедшая в мучительных подозрениях по поводу семнадцатилетней Серафимы (в ту пору я еще вела очередной подростковый клуб «Алый парус» при редакции уже «Учительской газеты»). Поздно вечером я узнала от ее мамы, что Симка пропала из дома, сказав, что едет к Саше Морозову (один из старших друзей клуба). Зная ее повышенный интерес к взрослым мужчинам, я задыхалась от черных подозрений... Еле дождалась утра, чтоб позвонить Саньке и развеять тревогу (девица благополучно отправилась домой около полуночи). Но душа уже была неизгладимо отравлена темным осадком от самих этих подозрений. И отъезд был безрадостен.

И все же «пышное природы увяданье» еще успела заметить краем сознания. Но уже под вечер визит в старинную пустынную церковь стал черным уколом: ставила свечки, чтобы избежать депрессии или хотя бы отодвинуть ее, а у выхода из ограды на стенде прочла какой-то церковный текст, из которого выходило, что опять я сплошь неугодная, неправильная, виноватая: редко исповедуюсь, а значит, душа моя грязна и т. п. (В самом подобном прочтении – уже явный симптом депрессии.) И краски пышных деревьев стали стремительно, зловеще гаснуть и меркнуть на глазах.

...Почему так притягивает меня память о том пышном золотом увядании вековых липовых аллей в старинной подмосковной усадьбе? Не день за днем, а час за часом меркли, глохли на глазах краски, стираемые серыми зловещими волнами подступающей депрессии. Будто само золото тускнело, отшелушивалось с деревьев, как с куполов церквей золотые чешуйки.

Почему так понуждают к перу недосказанные ощущения переходов из подъема в депрессию и обратно, почему они так упорно фиксируются волей сознания? Как некое значимое, но зыбкое и ускользающее знание, должное быть мною удержанным, схваченным, описанным.

... Почему-то у меня изначально не было тотального страха перед болезнью. Ни страха, ни стыда, охватывающих обычно пациентов наших клиник, стоит им выбраться из бреда и осознать свой новый статус душевнобольных, спроецировав на себя отношение к этому недугу друзей, коллег, общества в целом.

У меня эти неизбежные (и, возможно, необходимые) эмоции просто-напросто поглощал жгучий интерес к тому, что со мной происходило, что открылось мне в этом качестве, в новом измерении психики.

Ведь интерес к тайнам психики, к «запредельному», к устройству сознания, души и привел меня в педагогику, человековедение, журналистику...

Ну а тут – такое поле для «включенного наблюдения»! И вокруг, и внутри себя.

Причем, я заметила, для меня наиболее продуктивны в познании (как человека, так и природы) не сами по себе «норма» и «отклонение», а переход одного в другое, подвижная грань между ними. Или, как в моем случае, не сами по себе маниакал и депрессия, а опять-таки переход между ними. У меня он длится считаные дни, а то и часы, что безмерно осложняет мое пребывание в клинике, ибо каждая «фаза» требует диаметрально противоположных по действию лекарств, а поди поймай на ходу нужных докторов для изменения схемы, особенно в выходные... Если же переесть, скажем, в начавшемся подъеме антидепрессантов хоть одну-две таблетки, «улет» в бред для меня почти гарантирован, а значит, опять глюки и перевод в острую поднадзорную палату.

Зато в сжатый период, пока изнутри, стремительно раскручиваясь, меняется вся картина мира и себя в нем, есть возможность ухватить за хвост, отследить саму механику этой очередной перемены... Зачем? Почему?

Трудно объяснить. Но почему-то очень важно.

* * *

При прорыве из депрессии в подъем – наоборот. Впервые это я зафиксировала еще в самом начале болезни в Ганнушкина в 80-е. Это резкое, контрастное, ошеломляющее усиление красок, их оттенков. Если мохнатые цветы на картине в коридоре, еще вчера не замечаемые, вдруг бьют в глаза сочностью красок – значит, конец депрессии.

Как-то мой друг Сергей Токарев, известный московский художник, послушав меня, возмущенно воскликнул: «И это у них

называется болезнь! Да художники ради того, чтоб видеть ярче краски, на что угодно идут, а вам такое счастье – и на халяву!»

Не просто сами по себе краски – в подъемах резко возрастает количество красивых лиц на улицах, «картинка» реальности приобретает объем, масштаб – как если бы сравнить яркую голограмму с тусклым поверхностным изображением в депрессии.

Очевидно, при переходе из одного состояния в другое видимое просто больше «бросается в глаза», ведь зрение – основной канал восприятия внешней информации. Но со временем я отследила контрастные изменения в показаниях абсолютно всех органов чувств: слуховых, обонятельных, осязательных, вкусовых ощущений.

«...Работу слабую висок / еще вершит, / но пали руки. / И стайкою наискосок / уходят запахи и звуки...» – в этих строчках Беллы Ахмадулиной не просто метафора. А физиологически точно схваченное описание убывания, иссякания, угасания ощущений при начале депрессии, этого умирания души. Именно так, в этой последовательности: запахи, а затем звуки, они первыми угасают, исчезают, отлетают стайкой птиц наискосок от виска, который еще вершит «работу слабую»...

И вот чудо: именно в той же последовательности, спустя длительное время депрессии, они и возвращаются в день оживания души.

* * *

*Из дневника:*

«...Но запахи, ах, вот оно главное: запахи! В нынешний переход из депрессии в подъем я отчетливо вспомнила: первыми угасают и первыми же возвращаются именно запахи. Выскочила наутро после конца депрессии на улицу и жадно вдохнула запах снега, зимнего воздуха, настоянного на искринках инея. Еще накануне он для меня не существовал. А ведь все так же было и вчера, погода та же, и воздух, но запахов – не было!»

С нового, именно обонятельного ощущения и начинается для меня каждый раз новая жизнь, новый мир. «Нет, – с грустью возразил при очередной встрече Раюшкин, – это не мир меняется, это вы меняетесь. Каждый раз – разная в разных состояниях. А мир остается прежним».

Вот такая моя доля: через периоды мучений вступать через ощущения в новый и новый мир. В начале болезни это восхищало, теперь, после пятидесяти, становится даже обременительным:

избыток новых ощущений, красок и звуков тоже утомителен.

А подъем – он так короток!

Короток век мотылька.

* * *

Депрессия, начавшаяся в Софрино, была долгая. Может, потому, что так восхитительно длителен был до нее трехмесячный подъем. (Длительность фаз болезни у меня соотносится друг с другом, даже при незначительном, но оптимистическом факторе: преобладании величины фазы подъема.)

Тот лучезарный подъем начался после очередного «вещего» сна весной на даче. Проснувшись, я в очередной раз твердо решила, выйдя на пенсию, ехать к Юрке в Туапсе, выходить за него замуж. А то и оформиться там местным собкором от «Учительской» или «Новой газеты». Иначе на какие шиши пришлось бы жить? Юрка все свои малые финансы тратит на горные экспедиции. К нему приезжают дети со всей страны. Крохотная его квартирка завалена рюкзаками и дитячьими вещичками.

К исходу же подъема обрушилась реальность: какое собкорство? У меня же инвалидность второй группы, я не могу быть материально ответственным лицом за собкоровское хозяйство... И тому подобное.

Но все предшествующие новой депрессии три месяца я так была счастлива!

* * *

Так и стоят перед глазами роскошные золотые аллеи и – постепенно рассыпающийся, умирающий мир, распадающийся на отдельные бессмысленные предметы, пугающие своей пустотой.

А когда уходит депрессия – предметы «оживают», обретая связь друг с другом, со мной в частности и всем мирозданием в целом. Экзюпери в романе «Цитадель» писал об этой связности вещей, предметов Царства, без которой и самого Царства нет, а есть лишь нагромождение камней и предметов. Хаос, бессмыслица.

Вот так, с реанимации неких невидимых и неосязаемых, но вполне объективных «силовых линий» между предметами, о которых говорил Экзюпери, оживает наутро после депрессии

вчера еще мертвый мир. Книги на тумбочке возле кровати, карандаши на письменном столе, деревья за окном – все это обретает свою связь.

Восстанавливается общий порядок вещей. Обретается полнота картины мира, утрачиваемая в депрессии – вернее, замещаемая хаосом.

Принюхиваюсь, притрагиваюсь, удостоверяюсь на ощупь: мир жив! Значит, я тоже – жива!

Доверяю дождю, он явился
потрогать поверхность.
Убедиться, что есть она, есть она,
есть...
*Александр Аронов*

# На грани

Прошло еще полтора года. Я опять посетила стены Центра. И вышла оттуда в очередную депрессию.

Куда подевалось то ликование, та связность Сказки, которой я жила с упоением в этих стенах? Сказка рассыпалась – ведь ее держало только мое чересчур пылкое воображение, а оно исчезает вместе с концом подъема.

* * *

Замуж я так и не вышла. Мне совсем не страшно быть одной, когда я в подъеме. Поэтому два подъемных больничных месяца я прожила живая. Депрессия же – умирание души. Что я и свидетельствую, пытаясь ее преодолеть в очередной раз.

В больнице много бродила по коридорам, увитым гущей зеленых растений. Казалось, что живу уже другой, потусторонней жизнью – такое бессчетное количество раз моя душа умирала. Живое дыхание жизни казалось уже чем-то запредельным. И я поневоле искала в зеленых завитках листвы голоса или тени ушедших, дорогих мне людей.

К тому же частые маниакалы истончили грань между сном и явью. А в самих маниакалах появлялось все больше темного, угрожающего.

Вот я, находясь дома, проживаю, что на дворе – повторение 37-го года и надо успеть обзвонить друзей. Я звоню – но каждый раз слышу лишь долгие гудки в ответ: не успела. Забрали. Страх за друзей сильнее, чем за себя: спокойно хожу по комнате и собираю самые ценные вещи.

Дня через полтора, уже как бы «проснувшись», обнаруживаю у балконной двери эти ценности: горшочек с лимонным деревцем, в землю которого втиснуты мои украшения – браслетик, медальон... Но если это был всего лишь сон, то как я могла совершать вполне реальные активные действия? Жалкий осколок моего Великого Страха.

Вот еще одно страшное видение: городу осталось жить одни сутки. И надо эти сутки прожить достойно, без паники. Все жители заключают друг с другом этот тайный уговор. Вот и я наутро с мамой веду себя так, будто ничего не случилось. И мамино спокойствие объясняю тем же героическим уговором.

Только к вечеру понимаю, что все это мне опять просто почудилось. Вместе с облегчением нарастает отчаянье: я опять не

смогла распознать, где иллюзия, а где – реальность.

Я хочу сказать, в моем проживании ирреального очень сильно усилие разума постичь эту грань, постичь саму природу безумия в его начале, в переходе к нему и из него, отделить его от реальной жизни.

* * *

Когда мне позвонил Дима Дихтер и голосом заговорщика сказал: «Готовься, я везу тебе радость», я сразу поняла, что он везет мне Юрку, чтобы нас наконец-то поженить. Значит, я должна быть готова к поездке хоть на край света. Некоторое сомнение в реальности происходящего возникло у меня, лишь когда я выскочила из подъезда в любимом махровом халате канареечного цвета и с недавно купленным синим ковриком для аэробики, свернутым под мышкой. Уж больно странным мне самой показался этот наряд... Но тут же волна ликования заслонила это сомнение: я почувствовала запах летней травы у подъезда! Он был таким сильным и настоящим, что это значило: все остальное тоже настоящее! (До этого мне в видениях никогда не чудились естественные запахи.)

Димка повез нас в какие-то торговые ряды, где торговали свидетельствами о браке. Помню мельтешение бумажек в смуглых руках выходцев с Кавказа. Но, убедившись нюхом в реальности происходящего, я уже ничему не удивлялась. А сама свадьба с шашлыками должна была состояться в соседнем с моим домом полуподвальном магазинчике, который арендовал Трунов, Юркин руководитель в системе клубов «ЮНЕСКО». Я догадалась, что этот Трунов был мафиози и его окружение – бандиты. Юрка струсил и куда-то исчез. В подвальчике собрались журналисты. «Не бойся», – шепнул мне Генрих Боровик. А я и не боялась, просто ждала, дадут ли мне когда-нибудь шашлыки? Пока все их ждали, Трунов подарил мне ворох платьев, снимая их одно за другим с вешалок магазина.

Я ухватилась за них, как за материальное свидетельство реальности происходящего, некие «вещдоки». Но их, конечно же, обнаружила мама, стоило мне вернуться домой, и куда-то утащила с глаз долой.

Представить, что никуда я не выходила, никто меня никуда не вез, ничего вообще не происходило, а все это время я просто лежала на своем диванчике и бредила – помыслить такое было совершенно, просто смертельно невозможно. И я начала изобретать, как застолбить, продлить прожитое, материализовать

его в реальности: найдя визитку Трунова, позвонила ему и поблагодарила за участие в нашей с Юрой свадьбе. Чем повергла его в полное недоумение.

Димка Дихтер тоже лишь растерянно хмыкал, слушая мой пересказ «жизни в другом измерении». Вообще «другое измерение» – спасительная обертка для бреда. А я столько раз собиралась за Юрку замуж, что отказать себе в исполнении этого неистового намерения просто не могла – пусть и в сомнительной форме «другого измерения».

Юркой я болела больше двадцати лет. Возвращалась к нему от всех своих возлюбленных.

В психушках я не раз встречала примеры такой вот неистовой платонической любви. Но, как правило, девчонки месяца за два или четыре от нее излечивались. Я же почему-то была упряма. И Юра благодушно принимал эту мою бесплодную верность.

Сто раз в депрессиях я принимала решение забыть, оставить его – и каждый раз в подъеме неизменно набирала его номер телефона в Туапсе. Ради того состояния, которое охватывало меня, стоило лишь услышать его голос. Вот именно: быть может, моя любовь была не истинным чувством, а лишь неким особым состоянием, легко переходящим в бредовость восприятия «другого измерения», ибо Юра сам признавал и поддерживал во мне тягу к сверхъестественному, к «волшебству».

Чтобы порвать эту цепь, надо было решиться на разрыв не в депрессии, а на взлете, в подъеме, когда рука сама тянется набрать его номер телефона, а весь мир полон его голосом...

* * *

Это случилось в новогодье, когда я находилась в дневном стационаре. Выйдя из депрессии в подъем, я ездила в диспансер лишь утром за таблетками, а все остальное время проводила дома. И вот однажды вечером посреди ожившего, полнокровного мира я даю себе и маме обещание не звонить, не писать Юрке, навсегда вырвать из души эту болезнь – любовь. Сказано – сделано. А в душе беспрестанно звучит наваждением: «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду»... Что бы я ни делала, о чем бы ни думала, строчка звучит и звучит, как заведенная. Пугаю маму этим беспрестанным напевом сквозь стиснутые зубы. Будто бесы водят меня по кругу, бесы водят. Отвернувшись к окну, курю и плачу, плачу...

Но это необходимо сделать, как наркоману – слезть с иглы. А для этого нужно собрать всю себя, все силы. Я все-таки позвонила

ему, когда он приехал в Москву. И, давясь рыданиями, простилась. Он не поверил. Тогда наш общий старший друг Борис Михайлович Бим-Бад посоветовал мне: «А вы скажите ему, Оленька, что выходите замуж за меня». Так я и сделала. (Я тогда и не думала, что это он – всерьез. Он-то и был тем «чудо-юдом» из рассыпавшейся Сказки.)

* * *

Вот рассказала о Юрке, и стало тошно. Я ведь в этом жанре протокола не описала и тысячной доли того, что на самом деле испытала, прощаясь с ним. От памяти тех чувств – тошнит. Как и от знания того, что проститься все равно не удалось.

В депрессиях мне всегда тошно вспоминать, чем я жила в подъемах. То есть о том, что наиболее всего давало ощущение счастья, полноты и высоты жизни. Кроме вечной мелодии под названием «Юрка», чувство обретенности смысла давало то, что можно назвать «бредом социального реформаторства». Из моего окружения только Фур всегда утверждал, что это – бред, весь этот шквал «сверхценных идей» и проектов социального, духовного, эстетического переустройства реальности. Все остальные – завораживались (или слушали вполуха). Даже Санька Морозов, мой друг и частный психиатр, ценил эти идеи, сетуя лишь, что рядом нет человека, кто бы отсеивал явный бред от вполне рациональных зерен.

Чем краше была идея в подъеме – тем тошнее о ней вспоминать в депрессии. Я просто погибаю каждый раз от стыда за себя, за то, что люди мне поверили. А идея вместе со мной сгорала бабочкой в очередном костре безумия. Ибо просто была неадекватна реальности. Вернее, почти реальна, на уровне слов и бурного ее изложения в разных кабинетах «творческих людей». Получалось и впрямь красиво, и творчески, и одухотворенно, и очень похоже на жизнь. Но было лишь ее игровой имитацией.

Вспоминать все эти «проекты» мне сейчас очень горько, но вот, для примера, один из последних.

Он начинался и закончился белыми кружевными зонтиками. Их уже почти изготовила красивая черноволосая девушка с красивым именем Изольда. Она работала в пресс-клубе «Новой газеты» у моей подруги Риты Домниковой, к которой я обычно несла на суд все свои «прозрения» и «откровения». Тут же, в этом коридоре, в соседних кабинетах, были мои друзья еще из той, прежней «Комсомолки». А у Изольды был опыт сооружения кружевных зонтиков на «Мосфильме», что я и восприняла как

добрый знак всему моему проекту. Вот он (очень вкратце).

Зонтики были реквизитом в моей гостинице в городе у моря Туапсе. В этой дивной гостинице каждый волен был выбрать эпоху, в которой хотел бы жить, и самозабвенно в нее играть, пользуясь разнообразным реквизитом. Я лично выбирала начало века, роль Цветаевой, а Борис Михайлович Бим-Бад, тогдашний мой жених, – конечно же, Волошина (шляпа-канапе и просторная блуза). Короче, мы создавали Нью-Коктебель, место смешения различных пластов культуры и эпох. В эту чудесную гостиницу приезжали только друзья, которые и делали свои взносы в этот проект. Журналисты, артисты, олигархи… И непременно прогулки в горы в фаэтонах и каретах, запряженных лошадьми.

С помещением тоже было все просто: я отсуживала обратно два особняка, некогда принадлежавших семье Жени Двоскиной, моей девочки еще по первому клубу «Алый парус», которые у родителей Жени оттяпала какая-то никому не известная пронырливая родственница. А начать следовало со швейной мастерской по пошиву костюмов и прочего реквизита. Вот такой вот гостиничный бизнес, проект которого очень увлекал и развлекал моих собеседников. Продумала я также восхитительный ресторан в духе гриновского из «Дороги в никуда».

Само собой разумелось, что я переезжаю в Туапсе. Но вскоре выяснилось, что в Туапсе мне ехать не с руки, ибо замуж за Устинова я не пойду, да и отсуживать что-либо у кого-либо вовсе не умею. И вообще Изольда перешла работать на телевидение, так что ни одного зонтика у меня на руках так и не осталось. И все вокруг вскоре совершенно забыли о Нью-Коктебеле, включая меня саму…

Вот и сейчас с трудом вспоминаю детали, осталась одна лишь горечь.

Чувство острого разочарования в себе похоже на ту пытку, которую я прожила в одном из видений.

…Мы шли по каким-то каменным лабиринтам, и вблизи замаячил поворот, за которым, скорее всего, верная смерть. Вокруг меня были хорошие отважные люди, и они шагнули, не задумываясь, ибо были героями. А я осталась на месте. Я просто уцепилась за свою жизнь. Я оказалась, как выяснилось, не героем, и потому хорошие люди приговорили меня расстрелять. Дали всего день пожить.

Очнулась я в своей комнате, рядом была мама, читающая книжку, день был серый, дождливый, я слушала, как изредка стучат капли по балкону, и знала о себе, что я – обыватель, даже эти вот капли дождя мне дороже, ближе, чем подвиги. Я молчала

пару часов, со всем этим прощаясь и ожидая смерти с сознанием своего стыда и позора. Потом все же призналась маме, и та сразу же успокоила, заявив, что те, кого я боюсь, уже исчезли, улетели, и вообще никакие они не хорошие, а как раз наоборот. Ей было не привыкать к моим апокалипсисам: то городу остался один день жизни, то мне самой...

Что же, мой бред – некий тренажер чувств, на котором мое подсознание проигрывает то чувство смерти, полной безысходности, то вспышку надежды? Причем гораздо глубже, ярче, чем в «обычном режиме», то есть в реальности.

Как и сны – особенно те из них, что потрясают сильнее реальных событий.

# «Сны о чем-то большем»

## 1. Оратория

Сегодня суббота, вышла из депрессии в среду.

Проснулась в полтретьего ночи от жутких кошмаров. С бормотанием «Бешеные сны!» глотнула воды и выскочила на лестницу курить. Уснула вновь – а сны, как освободившиеся от жестких удил кони, понеслись вскачь дальше.

Следующий сон потряс меня эстетически и психологически. Никогда ранее в реальных кинотеатрах я не испытывала такой силы потрясения – разве что на «Жертвоприношении» Тарковского. Но здесь я была не зрителем. Под гулкую, тревожную, всепроникающую музыку я брела вместе с толпами молодых людей по местности, напоминающей подходы к нашей даче в Мамонтовке. Всюду творилось что-то многозначительное, приходилось угадывать какие-то ключевые слова или жесты в очередной толпе, чтоб увернуться от опасности и продолжить путь. Мы шли по речным потокам и пригоркам, музыка нарастала. Во всем пребывал ощутимый замысел, но не завершенный, а открытый сотворчеству с этой музыкой и с передвижениями людей. Вот, казалось, гибели не избежать: на нас сверху, с опор, по которым тянулись высоковольтные провода, медленно рушится металлическая сеть, а она ведь под напряжением! Секунду спустя переводим дыхание: сеть накрыла людей, но была обесточена. Люди замирают в этой странной общей кольчуге.

Сюжет мчится дальше, но теперь, наяву, не могу выудить из подсознания его повороты. Лишь кульминация, вот она: на пике напряжения, когда я молюсь, сложив ладони, вдруг вижу Режиссера. Он прекрасен. Мягкая *куртка* красноватого цвета, седые и густые, слегка вьющиеся волосы, светлый открытый взгляд. Как дорог он мне сразу, с первого мига! Он стоит на возвышении, наши взгляды встречаются, и это страшно важно – то, что мы связаны взглядом. И то, что он тоже молится, шевеля губами. И весь простор вокруг полон невыносимо огромной музыкой.

Какое же это счастье, Режиссер – здесь! Хотя и ясно, что замысел заключен не в нем, лишь отчасти – в нем. Но как важно для меня, что он существует, я нашла его, и у меня теперь есть надежная опора, даже если мы больше никогда не свидимся. Для истинного знания двух-трех секунд вполне достаточно.

...Вываливаюсь в явь с тяжестью в затылке: «пить!». Глоток минералки спасает. Уже восемь утра, уже можно вставать, день набирает бешеную скорость после такой Оратории.

* * *

В моих снах вообще много киношного. Не раз, помню, перед закрытыми глазами стремительно просились сюжеты-сценарии, вроде детективов, сменяя друг друга, и были они полноценны, взять да записать бы, но не стала: не мое это. Часто случаются потрясения: я на ключевом кадре просыпаюсь и спешу к столу, надеясь, что ослепительный эпизод не успеет высохнуть, и я подниму его громаду и сочиню текст очерка, статьи.

Вся моя фильмотека работает в жанре смеси жизни, реальности и текстов. В их неразрывном перетекании одного в другое.

Усилие удержать кадр во всей его многомерности схоже с упорными попытками в видениях захватить какой-либо материальный их кусочек (скажем, веточка цветущей вишни среди зимы, царящей во «внешней реальности»). И доказать, и свидетельствовать: реальное и ирреальное связаны, в этой связке есть переходы.

## 2. Планета воды

Эта планета была вся покрыта водой. Теплой, ласковой, но не соленой. Иначе, – подумала та, что считала себя мною, – у меня на коже были бы белесые разводы от морской соли. Ведь она всю свою жизнь, сколько себя помнит, была в воде, все плыла и плыла. И ночью, и днем, лишь изредка отдыхая, перевернувшись на спину.

Всегда, испокон веков, перед ней была эта картина: голубой небосвод, синева водной глади и, временами, – одинокая птица над головой. Интересно, думала Марина, где же эта птица спит? Ведь ни одного острова, ни одного камня так ни разу и не повстречалось. Наверное, птица, как и сама Марина, умела спать, покачиваясь на волнах.

Был и еще один человек на этой водной планете. Так же – просто пловец. Где-то раз в году (по Марининым подсчетам) они пересекались, плывя в разные стороны. Издалека появлялась его лысая голова и мощные плечи, плыл он другим стилем, чем Марина – кажется, брассом. Вот они оказываются в поле зрения друг друга, но даже не здороваются – плывут себе дальше,

каждый сам по себе. Вот такая вот форма жизни… Или она невозможна?

Нет, сон со всей очевидностью говорил мне: и так можно жить. И с этим… Главное – жить. Плыть.

## 3. Хэппенинг

Подъем продолжается. Много пишу для газеты, поэтому не успеваю записать последний сон из череды ярких, изматывающих. Назовем его «хэппенинг».

Этот сорт сновидений у меня часто случается. Город, в городе опасность. «Мы с ребятами» – содержание этого понятия каждый раз разное – устраиваем в разных концах этого города некое театрализованное действо, зашифрованное под жизнь. Следуют опасности для наших девочек, играющих проституток, но в итоге все заканчивается хорошо, неким просветлением Города.

Так вот, – хэппенинг.

Шла война. Мы разбились на группы и разошлись по улицам. Держа друг с другом связь по рациям. На каждой улице разыгрывалось свое действо. Особенно ярко оно закрутилось в ресторанчике на дебаркадере у реки. Очень сложно объяснить суть этих действ: они, театрализируя реальность, высветляя, нормализуют ее. Так и теперь: война просто растворилась, испарилась с улиц.

## 4. «И государственные сны в ту пору снились мне» (Валентин Берестов)

Идет подъем. Сорю деньгами, много пишу, довольна погодой, через неделю – сбор друзей на 55-летие, денег на это уже нет, буду клянчить у мамы в долг. Просыпаюсь рано.

Обрела по-новому Сережу Манежева, в которого была влюблена в 17 лет, мы дружили, теперь он и наш третий друг Прозоров нашли меня по Интернету… На душе светло, будто утерянного братца нашла. И все чисто-чисто. Рассказывала им с Любушкой (женой) много всякого про свою хворобу. (Кажется, это главное мое достояние…)

Так редко теперь обретаем друзей, так многих теряем, теряем навеки… Но у меня странные отношения со смертью. Когда-то, еще в Крымском центре психического здоровья, я в своем бреду прошла испытание страхом смерти. Просто надо было взять – и шагнуть через «барьер». А может, просто в силу глубокого моего инфантилизма для меня ее как бы и не существует вовсе. Я продолжаю разговор с дорогими ушедшими, даже спорю, а то и

ругаюсь по-прежнему с Симой, Юркой Щекочем... Кого помню – все живые. И Сима, и Юрка не менее для меня живы, чем Щетинин, Устинов... Просто и первых, и вторых нет в моей сегодняшней жизни, но что значит это – «сегодня»? Так, мгновение, пустяшное перед полнотой воплощенности в истинной, длящейся реальности Симы, Щекоча, Щетинина, Юрки...

* * *

Рассказывала Манежевым среди прочего свой «политический» сон-видение – есть у меня такой жанр снов. В перестройку, к примеру, я часто «вела» Раису Максимовну, как бы становилась ею, переживала ее переживания, теребя перчатки и не в силах правильно их надеть («Я на правую руку надела перчатку с левой руки»). А вокруг страшно грохотало чем-то круглым, чугунным в каменную стену...

Они оба с Горбачевым часто снились и мне, и Юрке Устинову.

А в тот день в мой сон они неожиданно явились вчетвером: Горбачевы и Ельцин с Наиной. Я опешила: «Борис Николаевич, я вас в свой сон не звала, но раз уж таков выбор моего Вальки Юмашева (Валя родом из моего клуба «Алый парус-Комбриг», потом был капитаном «АП» в «Комсомолке», потом ушел в «Огонек», где и делал первую книгу Ельцина), то я уважаю выбор своих ребят. Так что оставайтесь».

То, что они оказались вчетвером в моем сне, показалось мне чрезвычайно важным. Я тут же, проснувшись, стала набирать номер телефона «Новой газеты», чтобы разместить сие сообщение на первой полосе. Кажется, Акрам Муртазаев взял трубку, ничего не понял (или, наоборот, понял все – моя-то болезнь ни для кого из друзей не была секретом) и куда-то, слава богу, надолго отошел. Мне надоело держать трубку, и я занялась более интересными делами...

## 5. Зеленый луч

В начале ночи снился Лешка Нечаев. Он мне раньше в депрессиях часто снился. Яркие сны на тему, что жизнь не может быть насквозь Игрой. Есть Игра – и есть Жизнь, и это не одно и то же. По Пастернаку: «И тут кончается искусство и дышат почва и судьба». Он в своем коммунарском отряде в студенчестве запойно увлекался играми с ребятами – сначала по Крапивину, потом по Толкиену, потом просто ролевыми, историческими. Я «вела» эти

группы молодежи. Помню, после одного сна, очень яркого, вызвала его к себе домой, будучи в депрессии, чтоб все это сообщить. Он был весь в белом и тужил, что не может меня развеселить. Когда я провожала его на автобус, даже приплясывать стал у кромки тротуара, чтоб меня из хандры вывести. Теперь он давно уже успешно занят бизнесом. Руководит солидной фирмой косметики «Faberlic».

Так вот, ранней ночью мне снилось опять что-то очень завлекательное. Ничего не помню, помню лишь Лешку, где он – серьезный, и я его спросила, что все это значит? А он строго ответил: «Зеленый луч». И тут же за его спиной «задник сцены» засиял изумрудом, и на этом фоне нарисовался более светлый по тону, ослепительный зеленый луч. «Опять фэнтэзи», – пожурила его я.

## 6. Пока пишу – живу

Была радость встречи с Манежевым. И – облом. Придумали «свой проект» – броскую подачу его книги в «Новой». Я вдохновенно писала текст, но Хлебников отверг: стихи его не «убедили». Я это предчувствовала и заранее умирала от страха. Жизнь души уходила постепенно, как песок в песочных часах. Незаметно испарились и яркие сны. Из друзей и близких только Фур это мое увядание заметил, воскликнув на дне рождения: «Да ведь ты – никакая !»

Это был уже переход. И вот неделя, как «определилась»: снова депрессия.

Мучительно жить, мучительно продолжать писать... Между мною и жизнью стоит высокая стена болезни. У меня нет сил ее перепрыгнуть.

Но есть попытка обрести цельность, объединить в нечто целое, хотя бы на бумаге, две фазы одного существа. Или два существа, которые никак не склеить в одно. Я понимаю: депрессия – это тоже бред, как и маниакал. Тоже искаженная реальность, только в обратную сторону. Тоже утрата чувства этой реальности.

Могу лишь свидетельствовать на бумаге: вот я, вот болезнь, вот ее эпизоды. В истовой надежде, что эти свидетельства имеют хоть какой-нибудь смысл.

«Пока пишу – надеюсь» – тоже не так. «Пока пишу – живу» – точнее. Живу в своем почерке, живу в своих образах, когда вся остальная жизнь невозможна. Когда в помине нет никакой надежды...

Ядумала: цель Текста – Жизнь. Позже: цель Жизни – текст.

Но, может быть, цель текста – просто текст? Всего лишь.

Текст – как образ жизни.

В моих видениях мне много раз было предъявлено то, что необходимо претворить, переварить, превратить в текст. Отсечь от прожитой в бреду жизни самые тонкие, щемящие повороты сюжета – их просто не успеваешь «схватить», чтоб зафиксировать.

Так вот, когда бред идет долгие часы длительной волной, а не эпизодами, то суть его одна и та же: продирание вниз сквозь туннель. На каждом ярусе которого ждут свои испытания. Больше всего меня поражало, что в этих испытаниях и матушка откуда-то появлялась, отчасти присутствовала – с такими осторожными движениями, будто это чужой дом, а она в нем – прислужница. Я не могла разгадать эту маску: то ли играет роль прислуги, чтоб нам с ней было легче выбраться (ясно же, что нас тут заперли какие-то чужие и злые силы, хозяева жизни, и весь дом просвечен и прослушан). То ли, наоборот, это лишь двойник мамы, и эта особа сама в сговоре с «хозяевами».

Все эти тайны и подвиги ужасно выматывают. И все же был предел. Был конец туннеля. И был его смысл. Мне так и объяснили торжественным рокотом: это случается каждый раз, когда рождается человек. А потом все все опять забывают. До нового туннеля. До нового рождения. Но помнить его – не дано. Или не надо. А я вот – запомнила... До рождения – туннель, после смерти – туннель... Метропоезд какой-то.

А в самом нежном измерении «туннеля» каждый раз разыгрывалась несказанно щемящая зеленая пьеса, которую я с девушками играла неизвестно для кого, а точнее, для того, чтоб самая лучшая из моих девочек смогла соединиться с женихом. А кругом ведь восстания, каменья, расстрелы, измена, коварство... (На дворе было начало XX века.) В нашей группе, мы узнали, была одна доносчица, поэтому надо было сначала пошло, вульгарно сыграть с нею, а потом, когда она уснет, разыграть ту изумрудную, зеленую пьесу, венцом которой станет бегство. Или гибель тех двоих. Но как поведать красоту их лиц, их мелодии и зеленую ветку меж двух силуэтов!

* * *

Ну вот, снова начиная писать (еще только в голове текст проворачивая), я тихонько (кажется!) вышла из депрессии. Шла по улице, сочиняла текст. Поистине это моя единственная (или стержневая?) форма жизни: текст.

Господи, какое же это счастье – быть без депрессии! Все же

прав доктор Морозов: за этот дар, за чувство счастья при рождении нового мира мы и платим мучениями в депрессии. За счастье видеть оживающий мир и оживать вместе с ним...

Но – вновь вернулась депрессия. Выходила из нее рывками через сны. Выныривая из сна, обретала новую, недепрессивную пластику, то есть выразительные движения, хотелось двигаться, застывая в танцевальных па (вместо зеркала – ночное окно на лестничной площадке, где курю). Выдыхала, тянувшись поднятой, чуть изогнутой рукой верх, к темному небу: «Господи, Ты есть, Господи!»

## 7. Кровавый поток

Дело было на маминой родине, в селе Сухом Корсуне Ульяновской области. Продолжалась Оратория, как и в одном из предыдущих снов. Но теперь два берега, две Стихии вели Вечный Спор – белая и красная, Красная и Белая. Но не Красное Колесо – Красный Поток. Потому что – Волга.

Вот последний Кадр Сна:

Женщина с лицом Анны Карениной (в исполнении Татьяны Самойловой) с дочкой в ажурном платьице, задыхавшейся то ли в песенке, то ли в плаче, упрямо сплавлялась вплавь по реке, утопая в водорослях – в общем потоке уплывающей от Смерти Белой Стихии.

А на берегу мужички, моя родня, торжествовали над посрамлением супостата. Я старалась им что-то объяснить. На помощь позвала моего бывшего мужа Сережу Шапошника с женой. Я знала, он где-то рядом. Так и сказала родне: вот вы их позовите! «Ужо позову, а чево ему сказать-то?» – с радостной готовностью хохотнул дедок. – «Просто скажите: тебя Марина зовет». И подала им две ветки цветов (те, которые растут у меня на даче, на школьном подворье). Одну целую, другую надломленную. И тут же из прибрежных густых зарослей вышел по-прежнему молодой, стройный Сережа и такая же стройная, стремительная девушка-жена в джинсовом костюме. Оба были подтянуты и сосредоточенны.

Эту часть «Оратории – Объяснения» мы «моделировали» вместе. И это был красный, Кровавый поток, где Кровь была – не метафора цвета, а настоящая кровь...

До появления женщины с девочкой были очень трудные, тяжкие кадры: на кровавом месиве-фоне, прямо из него рождались страшные красные кричащие рты на телах-обрубках (словно только что из-под кисти Гойи), они трансформировались, множились. Надо было легким усилием претворить их кричащие

глотки-лица в овальные молчаливые лики с завитками волос, но все еще алые. Потом они тут же исчезали, ведь им не стать ангелами, надо было просто убрать тот страшный крик, чтоб исчезли кровавые рты...

* * *

(Эти трансформации – отголосок вчерашнего сна, когда мы все стояли в очереди к Богу. Его, конечно же, не видя и почти не ощущая, но важна была сама эта очередь, в ней – неведомым касаньем мы все как-то менялись, «трансформировались»...)

И над всем, над рекой и в реке, звучала Оратория из каких-то неведомых мне прекрасных Мелодий.

* * *

Вот и девочка с той женщиной доплыла через водоросли до светящегося окна, откуда к ней протянулись спасающие руки, а девочка просто выплюнула на подоконник мешающую ей таблетку изо рта (что-то сердечное, вроде валидола). И вдруг запела истинно ангельским голоском, вмиг превратившись из безвольной хрипящей куклы в неземной красоты создание. И плыла, и пела, пела, распустив волосы по воде, в своем ажурном платьице. «Видите, вы же – видите, – мысленно обратилась я к родне... – Вот она, красота!»

Все они тут были, моя родня – и раскулаченные, и истовые комсомольцы-комиссары в дряхлых кожанках, кого уже нет на свете, но они столь явно были все со мной, и так важно было прожить всю их разную правоту и успеть сказать свое словечко... Но главное – это была такая песенная родня... И Любушка пела, мамина сестра, в спор не вмешиваясь, да что там – сами небеса, сам воздух был певучий.

...А вынырнула из сна всего лишь с простенькой песенкой внутри:

Не клонись же ты, головушка,
От невзгод и от обид.
Мама, бедная голубушка —
Утро новое горит...

Я все это увидела, выскочила в коридор покурить и поняла – нет Депрессии. Просто я Книгу пишу. Текст. А это просто волны

Творчества меня колышут. То колышут, то – замирают. И я застываю в молчании пустым изваяньем… В Белом Безмолвии Статуей. Как девочки в больнице – те, что сидят или лежат молча часами в депрессии, а жизнь струится сквозь них, но они ее не ощущают.

Вот, просто Книгу пишу. И в кровавой той реке была, как в гинекологии во время выкидыша. Всем своим существом с болью (даже поясница ныла) проживая и личную, и общую жизнь-драму, жизнь-трагедию. Ораторию. Песенку.

…Отступает Одиночество —
возвращается Любовь.

И тут же обрушился на меня Великий Страх: это просто Сон. И я не осилю ни книгу, ни жизнь свою. Жуткий страх и Одиночество. Нечем жить, и нечего писать.

И куда же мне еще бежать, если – тотальная катастрофа, Великий Страх – как не к своему Доктору! Как раз подошло время визита утреннего.

(Это ведь элементарный творческий страх: а вдруг – не Книга, а – Выкидыш?)

Для меня (уродки) сей страх страшнее выкидыша физического…

«Книга и есть мозговой выкидыш писателя», – допишет потом на этих страницах Раюшкин.

…Придя в себя в НЦПЗ (успокоилась рядом с Раюшкиным), вступаю с ним в описание паники, он подыгрывает мне:

– Ну да, солнце – гребаный фонарь, разводит мух…

– Нет, ядовитое солнце слепит глаза. Черное солнце, черный свет.

– А вы – муха?

– Да, я – муха, – охотно соглашаюсь.

Брюзжит: «У вас еще немного – и до конца депрессивное мировоззрение сложится, будьте осторожны».

Если и не до конца, то целые глыбы бетонные уже готовы… И как же тут осторожничать?

# Мои девочки

## 1. Бесы смешат

В первой части книги, описывавшей 80 – 90-е годы, я отметила, что никаких чертей в бредовых галлюцинациях наших пациенток я не встречала, за исключением одной алкоголички еще в Ганнушкина. А так – сплошные инопланетяне. Но вот российское «коллективное бессознательное» в очередной раз качнулось от атеизма к религии – и к нам пожаловали новые герои.

Ладная, пухленькая семнадцатилетняя Валечка с валкой походкой, как у медвежонка, сидит, поджав под себя ноги, в кресле. Она ждет свою очередь к телефону, уткнув нос в колени. За ухом – темная прямая длинная прядь волос. В наушниках, с неизменной у молодежи в этих стенах Земфирой. Глаза веселые, карие. Временами вдруг начинает трястись всем телом и хохотать. Потом опять затихает со своей Земфирой. Спросишь у нее: «Ты чего?» – охотно отвечает: «Бесы смешат. То вон тот, меньше, а то другой, высокий». Во всем остальном – полная ясность сознания. Она и сама понимает, что бесы – это ее болезнь, что именно от них ее здесь лечат. (Ее перевели из подростковой больницы на долечивание.) Но это не мешает ей хохотать день за днем все громче и громче, хоть в холле у телефона, хоть в столовой за едой. Когда смех становится почти беспрерывным, ей меняют «схему» (то есть набор лекарств). Но ее саму, в отличие от докторов, эти бесы, похоже, нисколько не тревожат. Вскоре и мы все как бы привыкаем к ее смеху, а на вопрос новичка в столовой «Чего это она?» – буднично отвечаем: «Бесы смешат». Когда я выписывалась, Валя все еще продолжала веселиться…

## 2. Богородицы

С Ксюшкой мы повстречались в комнате посетителей. Мама привела ее госпитализировать, но мест в «острой» поднадзорной первой палате пока не было, решили подождать. Ксюшка не сразу вспомнила меня (мы с ней вместе лежали здесь лет пять назад, у меня дома еще остался ее рисунок в палевых тонах). А когда узнала, расцвела радостью. И между делом сообщила, что она – Богородица. «Святая воля» ее, правда, пока выражалась лишь в постоянном повсеместном курении, невзирая на все запреты.

Властных, угрожающих интонаций, слава богу, не было. Доктор заметил маме, что в этот раз все же полегче, чем в предыдущий. (Приступы у нее сопровождают каждую влюбленность.)

* * *

В тот же вечер Ксюша сбежала из дома через окно, ее отловили и вынуждены были отправить в Ганнушкина. А спустя несколько дней перевели сюда, когда место освободилось.

В то время я находилась там, чтобы просто пройти курс лечения по какой-то американской программе – без острого маниакала, но и без депрессии. Я воспринимала все происходящее адекватно, правда, не сразу раскусила очередную, кроме Ксюши, «Богородицу» Людку, – она то хохотала, то плясала, поводя тонкими выщипанными бровями, то принималась всех вокруг обличать.

Люда в своем городе работала методистом института усовершенствования учителей, в местной больнице больше ее держать мама не решилась, ибо в храме она, громко стеная, всем общеловала ноги, и нехорошая молва пошла по всему их небольшому городу.

...На второй день нашего знакомства я обнаружила Людмилу сидящей в шкафу и торжественным тоном требующей поклоняться ей как «Богородице». Спустя короткое время она опять пустилась в пляс с ужимками и гримасами.

Две «богородицы» вскоре сцепились друг с другом чуть ли не до драки, обвиняя друг друга в самозванстве и черной греховности. Их с трудом растащили по палатам.

Спустя пару-тройку недель «богородичный» бред как-то угас, но острая неприязнь друг к другу у них осталась.

* * *

Встретив после выписки Ксюшу, я была поражена переменами в ее облике. Вместо агрессивной фурии, то и дело матерящейся, передо мной предстало ангельское создание с кротким взором. Ксюша и впрямь оказалась умницей: учится в аспирантуре, работает волонтером в детском хосписе, последнее время печатает у нас в газете толковые статьи.

Еще раз подивилась тому, как разительно меняет болезнь облик и саму суть человека.

## 3. «Я извиняюсь»

Когда бы я ни попадала в наш Центр – на лечение или же просто на консультацию, то неизменно встречала здесь Настю. Она обычно стояла в курилке, уставясь в одну точку, по-журавлиному поджав под себя ногу, чтоб подошвой удержаться от скольжения по кафелю. Короткая улыбка узнавания и неизменное в ответ на «Как ты?» – «Ужас. Кошмар»... С извиняющейся интонацией.

И так вот – уже долгие годы...

Настя – дочь известного кинорежиссера, трагически погибшего вместе с женой. Когда Настю впервые сюда привезли, она вообще не разговаривала. Подойдя к ее койке, я предложила ей что-нибудь нарисовать (готовила очередной выпуск стенгазеты). Она с трудом, схематично начертила несколько рисунков: человечка, которого то тащат в душ, то укладывают в постель. С тех пор мы и заприметили друг друга. У Насти умные, добрые темно-карие глаза. Всегда чем-то испуганные. Из родных остались только восьмидесятилетние тетка и бабушка. С бабушкой она вечно грызлась по телефону. На днях бабушка умерла...

Говорят, Настя некоторое время жила в монастыре, откуда теперь ее навещает знаменитая актриса, совмещающая монастырскую жизнь с редкими теперь для нее съемками (ежели получает на них благословение батюшки). Полароидный фотопортрет той актрисы всегда на тумбочке у Насти.

Говорят, что Настя года два училась в каком-то вузе. Сейчас же боится писать, чтобы не наделать ошибок...

Ее состояние называется «госпитализм». Она почти полностью разучилась жить «в миру», даже сотенную от десятки не может различить. Дает все деньги подряд, когда заказывает вам купить сигареты. Откуда у нее деньги, на какие средства она живет здесь месяц за месяцем, годами – мне неизвестно.

«Марина, а Владимир Анатольевич за что-то на меня зуб имеет», – полушепотом заявляет мне она. И поясняет: «Когда я по телефону разговариваю, он меня обрывает: "Хватит с мужиками трепаться!" Я его уже боюсь просто. Все же знают, что я только с бабушкой и подругами разговариваю».

Я ей поясняю, что это доктор нарочно «прикалывается», хочет ее развеселить. Настя недоверчиво косит глазом. Раньше она вообще любую фразу болезненно принимала на свой счет. И впадала в полную панику. Сейчас мнительности, слава богу, поубавилось. То ли повзрослела, то ли подлечилась.

Иногда Настя выходит из этих стен на пару недель. Затем

снова, гонимая тоской и страхом, возвращается. На просьбу описать свое внутреннее состояние Настя протянула мне мятый листок с прыгающими строчками: «...Загнали как волчонка в угол и наблюдают, что он делать будет. А ему хочется, чтоб кто-то подошел, просто прохожий какой-нибудь, до плеча дотронулся или просто улыбнулся. Нет такого, и не будет, я знаю...

Мне хочется яблок или слив и чтобы навещали и любили. Безразличие и комплекс неполноценности, обида за что-то на кого-то, обида через край, я извиняюсь.

"Сильно переживаешь ты, – говорит мне соседка по палате, – если так на все обращаешь внимание, то я извиняюсь..."

Чай "Lipton", кофе с водой из-под крана не успокаивают, сердце стучит и стучит, ну и пусть стучит. Надо читать, наверное, книги...»

Тихая, незаметная, молчаливая, она стала для нас чем-то вроде печального домового, постоянного обитателя этих невеселых стен.

Но по-прежнему глубоко воспринимает стихи, помня их авторов, в редкие минуты хорошего настроения умеет всех рассмешить. И сразу же опять гаснет: «Я извиняюсь...»

## 4. Анка-стриптизерша

Густая темная грива волос, крупное лицо с сочными пухлыми губами и веселым прищуром раскосых глаз, – Анка выделяется среди всех брызжущей через край энергией. Девятнадцатилетняя студентка престижной столичной академии. Отличница. Стриптизерша (втайне от деканата).

А еще, как ни дико в этом контексте звучит, – «книжная девочка». Всю стипендию оставляет в книжном магазине «Москва», выходя оттуда с набитыми рюкзаком и двумя сумками. Впрочем, понятие «книжности» все же подразумевает не просто количество прочитанных книг, но и стремление жить «по книгам» – пусть, бывает, и наперекор реальности...

«Вчера у меня был секс!» – торжествующе вопит она, завидев меня, и несется по коридору с распростертыми объятиями, будто объявляет о полученной президентской премии. Домчавшись, добавляет, победно лучась, свою извечную присказку: «Прикинь?!» (В моей юности этому соответствовало бы: «Сечешь?».) И еще. Молниеносно высовывает вслед этому слову язычок между сжатых губ и тут же втягивает его обратно с виновато-лукавым выражением лица, будто зверек-муравьед.

Ритуал этот исполняется почти каждую неделю после возвращения с выходных обратно в клинику. Меняются лишь

имена счастливчиков, так что впору бы в мои-то годы поджать губы и брезгливо от нее отойти. Но, странное дело, все мы, кому она весело исповедуется в курилке, лишь глупо улыбаемся – столько в ней простодушия, искренней радости и – непостижимом образом – чистоты.

Просто она обожает танцевать, обожает ощущать свое тело – упругое, сочное, обтянутое всегда во что-то черное с серебряными блестками. Вот так она однажды упоенно танцевала в каком-то то ли ночном клубе, то ли казино, в полном экстазе забралась на сцену, тут ее и увидел хозяин клуба (или казино) и сразу же предложил танцевать у них стриптиз. Анка, ясное дело, с восторгом согласилась. Когда мама, устав от ее бурных романов вперемешку с депрессиями, уложила ее в больницу, Анна отчаянно кричала ей по телефону: «Ты ломаешь мне карьеру!»

Со своими избранниками она по-своему строга. «После ночи секса, прикинь, он мне прислал наутро кольцо и джип. Кольцо я взяла, джип отправила ему обратно. Правильно?» – вопрошает она, рассказывая о каком-то крутом грузине. Девчонки согласно кивают, потрясенные, и еле выдавливают из себя: «Конечно, правильно, все грузины – жутко ревнивые мужья». Хотя ясно, что замужество у девятнадцатилетней, вечно влюбленной Анки пока явно не планируется.

Как же мне к ней относиться? А она уже величает меня «второй мамой». Велела собственной маме переписать по моей просьбе названия книг, что у нее на полке стоят. Мне хотелось найти хоть какие-то точки соприкосновения. Мама выписала, что сверху стояло: Ингрид Нолль «Мертвый петух», Аркадий Егидес «Как разбираться в людях, или Психологический рисунок личности», Артуро Перес-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье», Алиса Ферней «Страсть – это жизнь: ее нужно прожить», Фаулз «Любовница французского лейтенанта», Сидни Шелдон, Роберт Хэйнлайн «Тоннель в небе», Джон Апдайк «Иствикские ведьмы», Харуки Мураками (весьма популярный и у остальных обитателей клиники), Илья Стогофф, весь Пелевин...

Пересекалась я с ней весьма скудно. Пелевин (мною нелюбимый, в отличие от ее обожествления), Стогофф, насквозь для меня пустой, Перес-Реверте (только имя у меня в памяти осталось), да вот разве что Джон Апдайк... Знакомого литературного критика попросила оценить круг Анкиных пристрастий, тот уважительно поцокал языком.

Меня же огорчило, что ни одного имени из моих любимых в ее возрасте книг в том перечне не было. Гессе, Олби, Мрожек, Ануй, поздний Катаев, ранний Аксенов, непременный «Альтист Данилов», Фитцджеральд, Франсуаза Саган... Само собой

Хемингуэй и Ремарк. А позже – Ричард Бах и «Цитадель» Экзюпери в полуслепых машинописных копиях…

– .. .А знаешь, какую книгу я сама хотела бы написать? – вдруг спрашивает она, оборвав болтовню, с непривычно серьезными глазами. И выпалила на одном дыхании: – Книгу о том, как не стать шлюхой! Она многим, она всем девушкам сейчас нужна!

И я понимаю, что прежде всего эта книга, этот вопрос гложет саму Анку с ее бесшабашными «отвязными» Любовями направо и налево, да еще в той полукриминальной среде, где она так истово и самозабвенно танцует. Впрочем, она привычно кокетничала с молодыми людьми и прямо в клинике, высунувшись в окно. Никто мимо нее не мог равнодушно пройти.

И она же на наших ежедневных творческих посиделках «КВГ» («Кто во что горазд»), которые я проводила для всех желающих, всегда с воодушевлением пела самые романтические песни – «Ребята, надо верить в чудеса» Володи Ланцберга, к примеру. Про Ассоль с ее алыми парусами. Проходу мне не давала, чтоб я взяла ее в свой клуб «Алый парус», уже после выписки чуть ли не каждый день навещала меня с мороженым и той же неизменной просьбой.

Но к тому времени я уже решила закрыть клуб, измотанная ответственностью за непредсказуемых подростков. И уж точно Анку с ее Любовями я бы не потянула… Ты уж прости меня, Анечка.

## 5. Натали

Она была старшей из нас – лет под шестьдесят. Раньше преподавала в вузе. Седые волосы до пояса (их она заплетала в косу), яркие блузы, легкий макияж на тонкой, почти прозрачной коже. Она постоянно пела высоким чистым голосом – или ругала в курилке последними словами «доцента», как она презрительно называла мужа. И, мечтательно закатив глаза, вспоминала двух бывших мужей – один умер в Америке, куда ее вывез, другой – в Индии, прямо во время медитации сердце остановилось. У нее было столько претендентов на руку, что мы уже запутались. Не оставляли они ее и в клинике. С округлившимися глазами шепотом она рассказывала о каком-то японце, который приезжал к ней в Центр уговаривать идти за него замуж и ехать в Японию, «когда зацветет сакура». «Жаль, ты его не видела, – говорила она мне на прогулке, – он только что отъехал, мы в машине выпили немного коньячка с лимоном. Понюхай, не пахнет от меня?»

Как-то разговорились о ней с Раюшкиным, тот вздохнул:

«Несчастная женщина». Я удивилась, вспомнив ее романы. Раюшкин посмотрел на меня с укором: «Марина Владиславовна, с вашим-то опытом...» Выяснилось, что все ее рассказы (кроме «доцента») – сплошные фантазии, в которые она сама истово верит.

Я была уже настороже, когда начался сюжет с психологом, ведущим у нас арттерапию. Красивый широкоплечий блондин с крупными чертами лица. Он называл ее «Натали», а она на рисунках всегда изображала что-нибудь радостное, любовное. Затем в курилке призналась: «Я нашла мужчину своей мечты!» Сюжет, по ее словам, стремительно развивался: вот он в темноте кинотеатра подсел к ней и держал ее за руку, вот попросил телефон... А на выходные позвонил и попросил о встрече, на что Натали якобы сурово ответила, что она замужем.

Японцу повезло куда меньше. Когда мы вскоре после выписки встретились с Натали в приемной, я спросила о его судьбе. «А он застрелился, – обреченно ответила она. – Он оказался шпионом, и его разоблачили. Я всю ночь проплакала!»

Мы часто созванивались, новые ее рассказы были будничные, обыденные. А голос ясный, доброжелательный. Видно, безумные любови и безостановочное пение посещают ее лишь в маниакале.

# «Группа поддержки»

## 1. «Это не ты. Это – болезнь»

– Не улетай, – только и сказал мне вчера напоследок Фурман, Фура, Фурушка. Мой воспитанник по клубу и просто друг. Тихо так попросил. Отстояв очередную смену со мной в депрессии и вот теперь мягко остерегая от маниакала.

А раньше – о, сколько их было, Санькиных громов и молний, на мою вот уже и впрямь больную голову!

Он призывал, убеждал, обличал… Доказывая мне в разгар депрессии всю пагубность маниакала, требуя силой разума овладеть болезнью, вытащить себя за волосы из дурной повторяемости сменяющих друг друга фаз. Не уставая, развенчивал в моих глазах «установку на эйфорию»…

Я рыдала, но все равно набирала каждый день номер его телефона. Пусть ругает – лишь бы было, кому звонить, лишь бы кто-то слушал все эти мои бесконечные жалобы и рыдания. Фур слушал активно, с предельным вниманием, включенно и неустанно.

Вот что для меня непостижимо: как можно не устать час за часом, день за днем, неделя за неделей, а то и месяц за месяцем (ибо срок депрессии у меня колеблется от трех недель до нескольких месяцев) слушать, по сути, одно и то же?! И – слышать. Ведь все депрессивные жалобы уныло однообразны, будто заезженная пластинка – но, вот беда, для самого больного они каждый раз сродни катастрофическому откровению: «Я плохая», «Я несостоятельная», «Я нежизнеспособна»… И так далее до бесконечности.

С годами то ли Санька стал мягче, терпимее ко мне (больше не требует полной победы над болезнью, не «обличает»), то ли это я просто многое уже усвоила из того, что он мне упорно вдалбливал…

Теперь основной лейтмотив его врачевания звучит спокойно и твердо: «Это не ты. Это болезнь». Ему удается на сотни ладов варьировать эту мысль, сколько бы я ни твердила свое «нежизнеспособна» – «непрофессиональна» – «несостоятельна». ..

Вообще самая распространенная у окружающих фраза утешения – «Это пройдет». Сколько дорогих мне лиц, сколько разных интонаций этой фразы возникает сейчас передо мной в благодарной памяти!

(А там, в депрессии, изощренное болезнью ухо по-сволочному

еще и отслеживает, кто да как эти слова произносит: механически или убежденно? Ведь у самой-то напрочь ее нет, веры, и даже надежды, что «Все пройдет...»)

Фур же уникален и спасителен для меня тем, что никогда не произносит просто фразу. Он каждый раз, помедлив пару секунд после моих причитаний, начинает думать. Будто сложную задачу решает все новым и новым способом. Мягко говоря «Это не ты», он словно держит в беспросветной для меня мгле некий спасительный фонарик, освещающий ядро моей личности.

Нет, сама я не вижу тот луч – но так тверд и спокоен Санькин голос, столько в нем энергии абсолютной убежденности, что я хоть на две-три минуты, но верю: где-то, значит, я все же есть, где-то притаилась – та, другая, цельная. Живая. А то, что я ощущаю – не я. Лишь бесчисленные гримасы в кривых зеркалах депрессии.

Этот краткий вдох воздуха, краткое выныривание из болотной топи становится возможным еще и потому, что каждый раз его фраза, развенчивающая мои построения, красива логической, интеллектуальной красотой, что само по себе завораживает и включает работу ума, отключая от внутренней черноты. (А ведь ради такого отключения бываешь рада и острой боли в зубоврачебном кресле, настолько боль душевная сильнее.)

* * *

На презентацию моей книги в редакции «Новой» собрались только близкие, созвучные мне люди. «Команда спасателей», я их так назвала – или, как в психиатрии, «группа поддержки». Так вот, Фур меня удивил, сказав, что наконец-то нашел ответ, чему-де я все-таки «их научила». (Речь, напомню, о нашем уже легендарном коммунарском клубе «Алый парус – Комбриг» при «Комсомолке» семидесятых.) Он сказал что-то очень умное о доверии к слову, об ответственности перед словом. И что при этом словом – всего лишь хрупким словом! – можно строить себя, других, пространство жизни вокруг... И что именно этому их научила я. (Точно, увы, его слова не вспомню.) Но удивило меня то, что это же я именно о нем всегда так думала! (Кстати, метод словесного самостроительства положен в основу вышедших книг Фурмана, теперь вот и моих литературных опытов.)

Думая о «словесном самостроительстве», я сразу вспомнила наши коммунарские «огоньки», когда вечером в конце сборовского дня мы садились в кружок возле свечки и часами говорили по кругу друг о друге, тихо и бережно подбирая слова.

(Те разговоры так и назывались: «Расскажи мне обо мне».)

Кто-то из ребят однажды резюмировал горделиво: «У нас уже не осталось ничего подсознательного, все – осознанно!»

Фур тогда уже был признанным мастером этого словесного «отзеркаливания» друг в друге внутреннего душевного бытия. А в детстве вообще мечтал стать святым, чтобы люди к нему шли за советом.

Когда я впервые попала в больницу, Санька, тогда еще семнадцатилетний пацан, сразу же купил учебник по психиатрии и проштудировал его. Будто уже тогда ответственно и фундаментально, как и ко всему в своей жизни, готовился к десятилетиям неусыпной своей вахты на краю моей болезни.

* * *

*Из дневников – Фуру*

«...Дача. Цветет жасмин. У племянника Феденьки выпускной. А у меня нудная, тягостная депрессия. Страшно, что она вообще не уйдет – странно, что еще могу жить и передвигаться, ну, мол, и того хватит с тебя.

...Нет такой гадости, которой я о себе не подумала бы. Нет страха, от которого я бы не ужаснулась.

Родные совершенно привыкли к моим депрессиям – как к какой-то досадной помехе. Не с кем поделиться ее катастрофичностью, да и невозможно это, а стало быть, и не нужно. Я не знаю, почему каждый раз – катастрофа?!

Что тут – от болезни, а что – от изъянов самой натуры?

...Люди наполнили дачи вокруг. Все те же люди, которые так радовали меня прошлым летом, теперь не любимы мной, – я забилась в угол на своем участке, втянув голову в плечи.

Милый Фур, я так и не могу все эти годы смириться с депрессией, принять свою болезнь как болезнь, а не как катастрофу.

Если смотреть изнутри депрессии, то возможный подъем кажется всего лишь отсрочкой от неминуемой казни, погибели. Ведь мама не станет моложе, а потом ее и вовсе не станет, а я сама не стану более умелой в жизни – последнее время я неделями, а то и месяцами не навожу порядок в квартире. Но я охотно убиралась, если рядом был муж (любой из них).

Может, мне просто-напросто кондово не хватает в жизни мужа? Только – созвучного мне существа.

* * *

...Вечер оживает перекличкой сочных дачных голосов. На их фоне я – сгусток неживого, дохлого муляжа.

Физически чувствую нежить души.

Только ты и есть со мной внутри этого мрака.

Все отвратительно мне во мне: одежда, волосы...

Рыдания подступают к горлу. Хорошо, что ты не слышишь меня.

Единственное, что хоть каплю уравновешивает меня с миром – тупой, утомительный физический труд на участке.

О чем бы ни подумала – везде яростный огонь страха: мама не вечна; книгу не смогу продолжать; нечем ее дальше писать, все уже выплеснула.

Жить – нечем.

...В моем возрасте выдают замуж детей, водят машину, преподают в институтах (как моя соседка по даче Ольга Теслер). Для меня это что-то запредельное. Я ущербна, никчемна и не умею даже достойно проживать депрессию.

Ходила по магазинам, через силу написала текст – слезы подступали.

Господи, помоги.

И ты, Санька, прости.

Депрессия – это то же "зазеркалье", что и маниакал. Просто с другим знаком. От бодрого, здорового Ольгиного голоса за забором – слезы.

* * *

По-прежнему приторно пахнет жасмин. Хлынул проливной ливень – работать на участке не могу из-за дождя. Но стало легче жить. Сразу же, как всегда в переходе, пытаюсь нащупать природу этой гадости (депрессии).

Но все страхи лишь слегка отступили и дышат мне в затылок, припрятав на время свои когти, которыми они меня рвут на части.

Пытаюсь понять "родословную" этих страхов. Большая часть группируется вокруг "социальной несостоятельности" (это по Фрейду – супер-эго?). Недоразвитая уродка.

...Нет, так нельзя. Грешно так. Пусть лучше слезы льются. Сижу – и слезы в три ручья.

Господи, как невыносимо это чувство убожества. Это чувство своей неправильности, уродства.

Маму надо оберегать от этих рыданий.

Санька, мне негде скрыться – в моем домике мама, а здесь на

участке, через забор – компания Теслер. Слышу их веселые голоса и безудержно плачу.

...Вечер. После разговора с тобой порою становится легче.

* * *

День.

Опять погано. Страшусь будущего. Как я – без мамы?

Нет, не надо страшиться – это просто сонмище страхов выпускает когти.

Депрессию переживаю словно богооставленность.

Вот к вечеру призраки-вампиры опять вернулись. Но это скорее призраки страхов (это я их и себя заговариваю, просто трудно очень в переходные дни сидеть в одиночестве, даже телефона нет).

Буду описывать страх. Что мне еще с ним делать, если он охватывает всю меня от макушки до пяток?

...Самый корневой страх «не могу "на уровне" писать в газету» дополнился еще более глубинным: «не смогу продолжить книгу».

Писанина для меня – последнее утлое убежище над бездной страхов.

Когда сознание фиксирует, что другой жизни уже не будет, а эту принять невозможно (я не знаю, чем здраво объяснить эту невозможность, но в потоке страха это так очевидно), единственное, что остается – писанина. Больше нечем жить.

Отчаянье сжирает единственный просвет: саму возможность писать.

Это ставится под сомнение и вот уже рушится в бездну.

Откуда такая страсть к саморазрушению – из страха перед жизнью? Может, это что-то вроде защиты: мир мне враждебен, сейчас он меня убьет, разрушит, пощады не жди, так вот я тогда сама его опережу...

Страх разрушителен по самой природе своей. Ему может противостоять только любовь. Депрессия – это неспособность любить. Пустоту заполняет страх. Не исчезай, Фур!»

## 2. Майра улетела, Майра прилетела...

«Что это ты обо мне, словно о птице говоришь? – каждый раз удивляется она между отлетами и прилетами. – На днях тебе мои юристы позвонят».

«Мои юристы»... Как же высоко многие из вас взлетели, мои хорошие! И я рада, но как мне не хватает ваших собственных

звонков. На следующий день Майра исправилась: «Я тебе сама эти дни буду звонить».

Так и не позвонила, конечно.

У нее какой-то гуманитарный бизнес в Казахстане, с представительствами во всем мире. В Москве бывает набегами, на пару-тройку дней раза два или три в год. Тут у них с мужем Маратом остался жить сын Арман.

Но вот что удивительно: самые ключевые события моей жизни связаны именно с ней, Майрой Салыковой: крещение, издание книги…

Помню, как долго я блуждала по церквям и соборам, не в силах понять, где и как мне креститься. А надо было сделать это обязательно: психосоматика без церкви не лечится, как сделали мы вывод с моими девочками в Центре. Мало просто верить – нужны исповеди и причастия. Так нам и во внутреннем храме в Центре говорили: «Здесь вы – в лечебнице».

Я не понимала, какую мне выбрать конфессию, очень было привлекательно католичество… Но потом я так объяснила Майре свой выбор православия: я должна быть там, где мой народ. Майра же, чистокровная казашка, воспитанная в Москве, лишь вздохнула: «А где мой народ, Марина?» Разъезжая по всему миру, она в каждом большом городе идет молиться в храмы сразу всех религий. Вот такая она «гражданка мира».

Так вот, подождав полгода, что я металась по церквям и депрессиям, она просто однажды подъехала с Маратом и Арманом к моему дому, погрузила меня вместе с депрессией в машину, и мы поехали к какому-то деревенскому батюшке, который в своей церквушке все село крестил и многих москвичей тоже. Она стала для меня вроде крестной мамы. И не только духовно: привезла полный багажник продуктов, чтоб вместе со священником отпраздновать мое крещение.

Познакомились мы с Майрой в редакции «Комсомолки» незадолго до перестройки. Ее отец был ответственным работником ЦК КПСС, и вся ее юность прошла в постоянных скандалах с отцом по поводу: «Что они сделали со страной?!». Протестуя против отцовской идеологии, она в итоге решила пойти работать водителем троллейбуса. Отец (глубоко порядочный человек, поэт «по совместительству») позвонил Селезневу, тогдашнему главному редактору «Комсомолки», с просьбой взять дочь на любую, самую низкооплачиваемую работу. Майра стала секретарем отдела школ и «Алого паруса».

Пока мы шли по дороге из редакции к метро по улице Правды, она яростно спорила со мной про коммунистический идеал. Страсти так накалялись, что однажды у нее на руке на

наших глазах вдруг появилась вроде бы ниоткуда яркая алая царапина. «Вот, – рассмеялась она, – это твои силы тебя защищают!» (И до сих пор, если в телефоне раздается характерный щелчок, мы с ней озабоченно спрашиваем друг друга: «Это твоя разведка или моя?» И Майра продолжает в трубку: «А мы все разведки мира лю-у-бим!..»)

Легкая, быстрая, во всех смыслах умница у меня подруга.

Если ее побывка в Москве совпадает с моей больницей, то едет она в наш Центр опять же с полным багажником даров и продуктов. А когда ее нет, приезжает Арман. О нем медсестры говорят: «Какой светлый парень!» Они все втроем, всей семьей готовят к изданию мои книги.

Может, решимость Майры сделала свое дело, когда она пришла к Муратову (главный редактор «Новой газеты», он тоже родом из той нашей «Комсомолки») с твердым заявлением: «Я буду издавать эту книгу». На что Муратов тут же ответил: «Только пополам, половина твоих денег, половина наших». И тут же сам, наконец, прочел ее, подстегнутый Майриной уверенностью.

А я была счастлива, что судьба книги оказалась в руках не просто издателей, а друзей, дорогих моему сердцу людей.

Легкая, быстрая, во всех отношениях просто волшебная у меня подруга Майра.

А что звонить не успевает – это не важно. Важно, что она есть у меня и всегда появляется рядом в переломные дни моей жизни.

## 3. Просто соседи

Я живу почти 25 лет на улице Стартовой – в бывшем доме бывшего ЦК ВЛКСМ. Раньше таксисты называли ее «финишной», ибо за ней – уже кольцевая дорога (МКАД) и Мытищи.

Стартуют надежды, разбитые
вдрызг.
Мой мальчик, мой ангел,
за небо держись!
Привычно сгорают, становятся
сном...
На Стартовой улице – снова светло.

Да, у нас тут всегда – светло. Последний раз вернулась из больницы, а на окне, у которого мы с соседями курим, висит нежнейшая голубая прозрачная занавесочка. Виктор с женой Татьяной – Веретниковы – из квартиры справа от нас ее повесили.

В предбаннике за общей дверью – разноцветные ковровые дорожки, на нашем «reception» (вынесенный в коридор из квартиры Сергея и Гали Галагуз складной стол) веером разложены журналы, газеты, книги, уже прочитанные по очереди и передаваемые по кругу для чтения в метро или на диване моей всеядной к книгам матушкой. Долгие годы она была единственной бабушкой на нашей площадке 11-го этажа, а теперь и Таня с Виктором, и Галамидовы, Юра с Наташей, сами молодые бабушки и дедушки.

В изначалье здесь поселили работников ЦК ВЛКСМ и журналистов «Комсомольской правды». Теперь из бывшей нашей газеты остались в доме только мы с Виктором Расторгуевым, остальные переехали ближе к центру. Но все бывшие комсомольские работники на нашей площадке сохранили свое место жительства. Четыре квартиры, одна из которых – наша с мамой.

...Когда-то я видела то ли сон, то ли виденье: вначале хрустальный город. Он быстро растаял на горизонте (явный след четвертого сна Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?» с ее хрустальным дворцом будущего). Затем какая-то пашня в пригороде, вдоль которой анпиловцы (дело было в перестройку, а во времена застоя Виктор Анпилов был моим однокурсником) сложили свои транспаранты и знамена и занялись сельскохозяйственными работами (наконец-то, подумала я).

А третья картинка была чудо как хороша: городок напоминал Пущино-на-Оке и был почти реальным. Только одно необычное измерение: жители в нем все поголовно были добрыми соседями. Дома в этом городе представляли что-то вроде ДНБ (то есть «Домов нового быта», проекты которых существовали в стране с 20-х годов XX века, но никак не могли надолго укрепиться в реальности, мы застали несколько таких проектов в 60 – 80-е годы под названием МЖК, то есть «молодежные жилищные комплексы»). Коридоры и холлы в домах того города из сна были общими, с прекрасной мебелью, дизайном, интерьерами. Соседство – что может быть надежней и спасительней, когда оно – доброе!

Помню, как давно, уже в маниакале, я увидела во сне (или в виденье?) нашу Татьяну, одаривавшую нас кучей нарядов из гардероба. Очень ясное предвиденье: Татьяна «наяву» чуть ли не каждую неделю угощает нас с матушкой то тортом, то супом. (Семья у нее большая, готовки много...)

Летом вообще дарственный дачный сезон: то Серега, то Татьяна везут нам с огорода массу вкусностей, одаряют

мороженым, конфетами. Юра с Наташей (они родом из Сибири) из отпуска привозят большие банки сибирского меда, к тому же, Юра постоянный помощник нам с мамой по домашнему быту (сантехника, оконные рамы и прочее, прочее). Я временами возилась с их детьми: то стенгазету выпускали к Новому году, то с Танечкой Галагуз на 23 февраля вышивали бисером носовые платки в подарок всем мужчинам нашей площадки…

Теперь дети выросли, сами с семьями или «на выданье», и я очень люблю порой беседовать с ними «за жизнь».

Когда приходится совсем туго, соседи всегда рядом. Помню, когда у меня на дому были длительные маниакалы, в кризисные ситуации бесстрашно входила к нам Натка, с улыбкой уговаривая: «Пошли, там ребята собрались!», и я была ей благодарна, хотя и понимала, что заманивает меня вовсе не к «ребятам», а в больницу (у подъезда уже ждала чья-то машина).

А ее муж Юра всегда требовательно выспрашивает, над чем я работаю, постоянно напоминая, что он «растил детей на моих статьях» еще в прежней «Комсомолке».

Как-то у мамы случился длительный приступ, и соседи по очереди дежурили около нее, пока я ездила в редакцию. У нас в те дни были проблемы с постельным бельем, и наши милые женщины тащили нам кто простыню, кто пододеяльник. А мужики, когда мы все же решили маму госпитализировать, сами ее на одеяле спустили вниз, к машине «скорой помощи».

Мы все вместе разделяли проблемы каждой квартиры, будь то беда с наркотиками у пацанов или несчастная любовь у кого-нибудь из ребятни. А потом провожали их в армию, женили, выдавали замуж – каждый раз радуясь за них всей площадкой.

… С горечью пережили мы в свое время крушение коммунистических идеалов. Для моих соседей это было еще и потерей работы, социального статуса. Но все обошлось: мужчины, в основном, работают в серьезных фирмах, их жены пошли учителями в школы. Но вот теперь, спустя годы, я думаю, что не такие уж это вещи несовместимые – коммуна и «рынок». Просто все дело в «пропорциях» и формах этой совместности…

Соседство – оптимальная основа для духа коммуны.

## 4. «Да ты что?!»

Особое место в моей «группе поддержки» занимают мои коллеги, люди пишущие и делающие газеты.

Прежде всего, конечно, Петр Положевец, главный редактор «Учительской газеты», где я работаю в штате уже второй десяток лет после разрыва с «Комсомолкой». (Сам он перешел в «УГ» из

«КП» несколько раньше.)

Познакомились мы с ним на турнепсе (это овощ такой, убирать который редакция «Комсомолки» ездила каждую осень в 80-е в подшефный совхоз). У нас тогда освободилось место редактора отдела образования и «Алого паруса», и мы с Валькой Юмашевым, капитаном «АП», срочно искали свою кандидатуру на этот пост, чтобы из ЦК ВЛКСМ не прислали очередного функционера.

Был серый промозглый день. Мы обреченно таскали в кучи склизкий турнепс с грядок (он похож на большую продолговатую репу). И вдруг из этой мглы вынырнул прежде незнакомый мне парень, очень красивый и стройный с синими грустными волошковыми глазами («волошка» – по-украински значит «василек»). Была в тех «волошках» какая-то особая, пронзительная печаль. Узнав, что это наш новый собкор по Украине, я сопоставила его уже замеченные прежде красивые тексты с этим взором волошковым и твердо заявила Вальке: берем! Юмашев и тогда умел мгновенно решать кадровые и прочие сложные вопросы (что пригодилось ему несколько лет спустя на посту главы администрации Ельцина). И вот через неделю Петр Положевец работал на этаже. Это было лето Чернобыля, и не эту ли печаль принес он в своих глазах, побывав прежде нас всех на АЭС?

Петр так и остался для меня с вечера моего дня рождения слитен со словами песни на стихи Виталия Коротича «Переведи меня через майдан»... Мы упоенно танцевали с ним под пластинку, вторя Сергею и Татьяне Никитиным на своей украинской «мові», и общая родина с ее печалью и простором наконец-то прорвалась, озвучилась в нашем московском кругу общения.

Может, именно глубинная, женственная поэтичность украинской «мовы» (не хочется переводить это слово на более рациональное, более мужское слово «язык») лежит в основе его уникальной способности к отклику на самые запредельные мои «улеты».

Критика таких состояний, безусловно, важна, но все же временами для меня не менее важно, как ни парадоксально, на фоне этой критики (от мамы, сестры, от Фура, от самой себя)... ее отсутствие. Но не равнодушное, а мягкое, удивленное, как у Пети: «Да ты что?» – в ответ на самые мои невообразимые откровения по телефону, да еще глубокой ночью или, того хуже, рано утром.

...В тот подъем я день за днем лепила на стены комнаты множество ярких плакатов, афиш, рисунков, фотографий, краски били по глазам... И вдруг, поздно ночью, при ярком свете всех

ламп, чувствую нестерпимый физический жар от стен, будто в топке реактора нахожусь (моделирую я сама себе сравнение, тут же в него уверовав). В полной панике звоню Петру: «Скажи, как спасались чернобыльцы от радиации?» Следует мягкое удивление от столь странного моего местопребывания, после чего спокойно и участливо Петр рассказывает, что надо выпить глоток воды, задумать самое заветное желание и уснуть, положив руку под подушку. Мгновенно успокаиваюсь от самого совета, но еще больше от того, что мне не перечили, не разоблачали «бред», не пугали и не пугались… А ведь в маниакале самое главное – просто успокоить и заставить меня спать.

В другой раз «крыша едет» по поводу Юры Устинова (от этой темы уже у всех моих «доверенных лиц» просто руки опускаются). Вдруг уверилась в его полном исчезновении из нашего мира вместе с его ребятами – лишь прощальный иней остался на стенах моей квартиры. Задыхаюсь от не выплеснутых рыданий, порываюсь идти среди ночи к соседям по площадке и к Лепскому, товарищу по «Комсомолке», в соседний подъезд, чтоб сагитировать тут же искать подснежники в январе (зачем-то это нужно, чтоб вернуть ушельцев). Мама устало, но твердо советует: «Звони Пете». Тот полусонно слушает мой лепет про некий иней на стенах, прерываемый рыданиями, искренне реагируя неизменным «Да ты что?» И опять сам факт разделенности, принятия моих истеричных откровений успокаивает, сглаживает остроту приступа – иней как-то незаметно исчезает, подснежники перестают казаться столь уж необходимыми…

Я так и не знаю до конца, да и знать не хочу, есть ли некая мудрая «хитрость» в этих его «Да ты что?», или он на сто процентов просто искренен? Уповаю на сам украинский характер, на саму интонацию нашей «мовы», в которой всегда свернут подтекст. У русских же более чем прямолинейное, прямодушное интонирование языка.

Уповаю и на поэтическую отзывчивость Петра на красоту (пусть и сомнительную, опасную с клинической точки зрения) захватывающих меня образов в маниакалах.

Вот «зависла» в клинике после бессонных ночей, обнаружив себя… в космосе. Как иначе объяснить себе чернильную темень окон, отсутствие каких-либо звуков птиц и шелеста листвы за стенами? Скоро придут врачи и, конечно же, поместят меня прямо по назначению в острую поднадзорную палату, но это в тот миг не осознается, ведь оно будет потом, другое, шершавое, жестко-реальное измерение… А пока – как прожить, как вместить в себя эту раскрывшуюся бездонность, заброшенность? Тайком пробираюсь к телефону, набираю спасительный номер: «Петя,

представляешь, мы – в космосе!» – «Хорошо. ..» – отвечает он мне с сонной ласковой усмешкой. – «Но как же мне на прогулку идти – босиком по звездам?» – «Иди по звездам», – щедро отпускает меня главный редактор – быть может, просто досматривая утренний сон.

Вот так и аукаемся с ним третий десяток лет, и это «отзеркаливание» образов (пусть и болезненных по природе своей) для меня очень значимо, ведь оно своего рода продолжение восприятия образных текстов друг друга на газетной полосе или в процессе их создания.

Будто продолжается тот наш первый танец, будто длится та строчка Коротича «Переведи меня через майдан...» Где майдан – образ самой жизни, ее «торжища людского».

...А поля не было, где кончился майдан.

## 5. Белое безмолвие, черная тетрадь

В моих снах и видениях она неизменно присутствует в эпицентре образа «хороших, светлых людей»: то спасающих меня, то выносящих молчаливый приговор именно в качестве высшей нравственной силы. Да и для всех, кто связан с прежней «Комсомолкой», Инна Павловна Руденко – безусловный нравственный авторитет. Несгибаемый духовный стержень нашего обширного землячества. Эталон того, как жить и писать – достойно.

Тусклый от постоянного физического недомогания голос вмиг преображается, наполняясь светлой, жизнеутверждающей энергией, стоит ей услышать мое очередное горькое признание о начале депрессии. В ответ с особой лаской и сочувствием звучит ее неизменное «деточка...» (какое счастье быть после пятидесяти все еще для кого-то – «деточкой»!). И дальше следуют напористые слова о моем таланте, прочих достоинствах, либо просто короткое: «Сейчас пострадаешь, зато потом опять будешь молодец!»

Жадно вслушиваюсь в интонации – в ее голосе будто сгустились отзвуки голосов уже ушедших дорогих мне людей, наших учителей еще в 60-е, 70-е... И прежде всего – Симона Львовича Соловейчика, друга Инны Павловны, блистательного мастера педагогической публицистки. Моего Учителя, друга, любимого.

Его уже давно нет на этом свете, но я продолжаю с ним разговаривать, как с живым, вспоминаю его словечки, фразы,

перечитываю его книги и статьи.

...То было посреди недели тишайшей тишины, я наблюдалась в дневном стационаре. Поэтому дома вставала очень рано и выскальзывала на улицу, в кружево белых веток, покрытых густым инеем. Вспоминалась фраза Риты Домниковой, что ее мечта, когда выйдет на пенсию, поселиться в лесу, в белом безмолвии и лишь иногда ходить в гости к такому же отшельнику. По телефону я в те дни всем желала белого безмолвия, и мои собеседники мечтательно улыбались.

И вдруг посреди этой сказки меня захватил маниакал. Вот его суть: Валерка Хилтунен, мой ровесник и соратник по прежней «Комсомолке», якобы откопал в редакционных архивах пыльную черную книжицу, изданную всего одним экземпляром. В ней была тайна, которую нам никто из старших никогда не рассказывал. То была история девочки, которая подробно описала, как она решила умереть, просто уйдя далеко в лес и там замерзнув. Записка осталась в кармане. Помню картинку в той черной книжке: девочка уходит по сугробам все дальше и дальше, и вот ее совсем уже не видно под сомкнувшимися ветками. А дальше следовала якобы документальная запись обсуждения этого посмертного письма тогда еще молодыми сотрудниками школьного отдела, нашими будущими мэтрами. Большинство было против публикации – ведь она вызовет эпидемию таких вот самоубийств. И вдруг Сима Соловейчик, весело подмигнув, произнес: «А почему бы и нет?» Мир померк у меня в душе. Ведь именно Симон Львович был хранителем тончайшего, пронзительного восприятия детской души. И тут – этот лукавый цинизм. Значит, все было неправдой, раз хранилась где-то эта черная тетрадь? Значит, старшие нас – обманывали? Я не в силах была позвонить даже Инне Павловне, ведь она – знала. Лишь под вечер набрала ее номер и вскользь сказала, что я видела черную тетрадь. Она встревожилась, услышав отчаянье в моем голосе, что-то горячо говорила о черных снах, но я от обиды и горького разочарования даже не могла с ней говорить.

Лишь ночью, лежа без сна, прокручивая в голове ту историю, я собрала все силы и отринула наваждение: «Нет, Сима не мог так сказать. Это не его интонация!» Это было сродни победе над лукавым, над его искушением. Над очередной ловушкой маниакала.

Безумие наползает на реальность, уродует ее, выдает себя за правду жизни, порой требуя все мужество веры в людей, чтоб стереть его гримасы. И какое счастье, что они есть, незыблемые авторитеты, нерушимые опоры в наших душах – в том числе в топких волнах депрессий и маниакалов.

## 6. «Имеешь право»

Косая сажень в плечах, писаный красавец, психиатр и нарколог Саша Морозов появился на моем горизонте еще во время первой чеченской войны. Тогда они, группа молодых медиков, создали организацию «Врачи вне политики» и отправились на театр военных действий спасать раненых с обеих сторон. Рискуя жизнью, тайно вывозили пацанов-дудаевцев в безопасное место, вели прием сельских жителей прямо под бомбежками. Я опубликовала о них очерк, и мы стали часто общаться.

Вернувшись в Москву, продолжал рваться повсюду, где гремели выстрелы. О таких говорят – экстремал. (У него и мама – психиатр той же породы, получила орден за работу на Дубровке.)

Когда совсем уже собрался в Югославию в составе «голубых касок», жена поставила условие: выплачиваешь двести тысяч долларов контрибуции на наших троих детей – и помирай где хочешь. Условие счел справедливым, но двести тысяч долларов все равно не смог бы собрать. Сейчас Саша – врач с обширной практикой, творит чудеса, за один-два сеанса вытаскивает алкоголиков, спасает подростков из наркозависимости. Они словно чуют в нем не благополучного доктора, а человека, самого прошедшего громы и молнии и пограничные ситуации. Его отец еще на излете застоя тайком от семьи уехал в Америку. Санька в ту пору служил в армии. Особист так и сказал ему: пойди в лес и сам повесься. Саньку с трудом откачали, возвращался в Москву со жгучей мечтой взорвать ненавистное ведомство. А попал как раз в те дни ликования, когда и без него обошлись, даже памятника Дзержинскому больше не было на площади. Начались депрессии. Спасался по методу какого-то француза организацией экзотических заплывов со связанными сзади руками; прямо дома, в крохотной квартирке, основал секцию айкидо...

Пишет рассказы, мастерит какой-то хитрый прибор для слепых. Санька из тех психиатров, кто не выделяет болезнь из жизни как чистую патологию. Не устает рассказывать мне, как один врач в минуты просветления описывал свою болезнь, и в результате получилась блестящая монография по депрессии. Именно Морозов впервые дал мне ответ на мучительные «зачем?», «за что?», рвущие душу в депрессиях. «А за тем, – пояснил он, – что после депрессии ты видишь мир ярче, ослепительней, чего не дано "обычным" людям, для большинства которых мир сер и будничен. Депрессия – плата за этот свет. За все надо платить».

А когда в какую-то особо длительную депрессию достала полный пузырек таблеток с неистовым решением заснуть

навсегда, последний звонок был Морозову: хватит ли таблеток? Он не стал ужасаться, отговаривать меня, просто заметил, что результат – неизвестен. «Как карта ляжет». И эта принципиальная незавершаемость ситуации, как и жизни вообще, дала силы тянуть лямку дальше. К тому же, я помнила его прежние слова: «В тебе слишком много жизнелюбия». Как напоминание о том, что и этот дар надо отрабатывать.

...Лето, я дома одна, только что пришла с могилы Юры Щекочихина, моего друга и кратковременного мужа еще в 70-е. В Переделкино была презентация его книги, выпущенной вскоре после гибели. Среди массы народа я держалась энергично, бодро, по дороге домой тоже держалась, бормоча свои ему стихи. Но в пустой квартире обрушилась такая тяжесть, что я стала кататься по полу со звериным воем, засовывая в рот таблетки горстями. Вой только усиливался, звоню Морозову со сбивчивым рассказом и вопросом: «Может, это передозировка лекарств, что я никак не могу успокоиться?»

И тогда твердо и спокойно звучит мне в ответ: «Имеешь право».

В тот день я отрыдала свое, благодарная Саньке, что он не стал говорить со мной на языке лекарственных схем, что просто дал мне право побыть убитой горем женщиной, похоронившей давнюю любовь.

Заросло травой, проросло бедой
Твое имя с холмика у реки.
Не была женой, не была вдовой,
Не несла венки.
Я была одна с Сетунью-рекой
И рвала цветы —
Не дурман лесной,
Не ковыль степной —
А крапиву с запахом лебеды.
Вечный наш разлад
Превратился в ад
На краю земли.
Как я здесь – одна?
Как ты там – один?
По воде круги...

Этот мужественный человек – Морозов – никогда не признает тотальный характер болезни, а включает ее в гораздо больший, емкий масштаб жизни, которому он сам открыт со спокойной отвагой.

# Диагноз: капремонт

И вот в нашем отделении грянул капремонт. Раньше ходили слухи, что на это время больных эвакуируют в другие отделения, но потом где-то наверху, видно, решили, что и так сойдет.

Дома у меня была легкая, неглубокая депрессия, но Раюшкин попросил лечь в Центр – у них набиралась группа для научной программы как раз по моим показателям.

...Все-таки психиатры явно не учитывают влияние материальной среды на больных. Переступив порог отделения, я обнаружила полную разруху. Длинный коридор был перегорожен, вся дневная жизнь больных ютилась на крохотном пятачке, а в коридоре, где размещались люксы, одна на другой стояли кровати. Врачи сновали из кабинета в кабинет с коробками своего имущества, администрация была занята приемом каких-то новых шкафов, столов, списанием старых...

Общий туалет, где обычно была наша курилка, был отгорожен, и потому нас медсестры водили курить под лестницу один раз в два часа. Это известие было для меня таким шоком, что депрессия вмиг слетела, я просто не могла ни о чем думать, кроме желания курить.

Начался сильный подъем, усиленный бытовой неразберихой. По ночам, тихонько пробираясь между спящих сестер, я тайком обследовала пустые помещения люксовых палат, уже пребывая в «коконе чудесного». Днем спать было невозможно из-за постоянного визга дрели. Пользовались мы душем и туалетом поднадзорной палаты, которая была для меня вся пропитана Юркой, моих к нему давних посланий.

В палату по распоряжению Донары Антоновны мне внесли стол, чтоб продолжала писать книгу, разрешили даже курить у открытого окна в поднадзорной палате. Как всегда в подъеме, чувствовала я себя прекрасно, от нечего делать начала «шалить». Описывая в тот вечер по телефону Борису Михайловичу Бим-Баду штабеля новеньких кроватей, предложила: «Берем?» – «Берем», – тут же добродушно согласился Бим. И цветы в кадках берем, и кресла... Расшалилась до того, что ночью я уже была уверена, что Бим подгоняет к заднему крыльцу транспорт, а еще точнее (ведь он Волшебник) – просто отстраивает с рабочими копию нашего корпуса, чтоб оригинал куда-то вывезти. Спать я не могла – в коридоре всю ночь горела лампа (еще с тех пор, как днем ждали какой-то зеркальный шкаф), обычно она потушена. И до поздней ночи за перегородкой гудела какая-то техника. На мои расспросы сестры меня шугали, поддакивая моим опасениям: «Да, это

бетономешалка, вот сейчас хлестнет на вас бетоном». И я представляла, как мои девочки, залитые бетоном, становятся памятниками. Вскоре я увидела, что простыни, которыми они были укрыты, становятся похожи на бальные платья и на них нисходит золотистый цвет.

Ночь продолжалась, лампа светила, я ломала голову, как там справится Бим с оригиналом и копией корпуса, чтоб никто ничего не заметил, и тут вспомнила Батурина. Летчик-космонавт, автор и друг «Новой газеты», с которым мы много раз встречались в редакции. Вот он-то и поможет! Просто перевезет «дубликат» на Байконур да и отправит в космос.

А мне предстояли личные переживания. К тому времени я окончательно рассталась с Юркой, он уехал от судебных преследований куда-то далеко, не оставив адреса, а у меня незадолго до больницы появился милый друг, Андрей, он и в Центр уже приезжал, подарив мне плюшевую собаку. И тут, посреди ночи, я вдруг увидела в слабо освещенном окне напротив тень Юркиного лица, а рядом – фигурки ребят. Его лицо было мучительно запрокинуто ко мне с какой-то тихой песней, в которой рефреном повторялось: «Я вернусь». – «Нет!» – упорно трясла я головой, прижимая к сердцу плюшевую собаку, и обливалась слезами.

Но было ясно: он не уйдет, ему легче умереть. Он вообще не сможет жить без меня. Ну хорошо же, рыдая, подумала я. Тогда все расскажу Раюшкину, и на рассвете он тебя убьет! Юрка не исчезал, и я поняла, что сама должна убить, дематериализовать этот призрак. Убить галлюцинацию. Но как? Стрелять в человека, даже в тень его, я не могу. И тогда я вспомнила деда. Он всю войну прошел военным разведчиком, а умер, когда мне было три с половиной года. Он и с того света всю жизнь меня защищает.

Выстрела я не слышала, лишь коротко взметнулся испуганный детский крик. Но дело было сделано. И тогда я повалилась на пол в рыданиях: дед ушел. Он пришел, он помог, он был тут, и вот опять безвозвратно ушел, самый любящий меня человек. Я лишь слышала запах его папиром «Герцеговина Флор».

Не в силах все это держать в голове, я выскочила в коридор к сестрам с безнадежным воплем: «Я рехнулась!» На миг действительность стала на свои места, и меня обуял весь ужас безумия. Сестры отправили меня обратно в ненавистную палату, где меня ждало еще одно тревожное открытие: за окном была необычная, не по-земному черная ночь, и ни шелеста листьев, ни гула автострад, ни возни птиц не долетало из-за окна. Тут до меня дошло: Батурин перепутал «капсулы» и в космосе оказался «оригинал», а не «дубликат»! То есть мы – в космосе. Что же

теперь делать?

Сметая все заслоны сестер и санитарок, помчалась среди ночи к кабинету заведующей, чтоб «доложить». Но запуталась среди телефонов и отчасти успокоила словами медсестру, что утром, совсем скоро сама ей все доложу. Чтоб как-то разделить охватившую меня беспредельность, набрала номер Петра Положевца все с тем же сообщением: «Представляешь, мы в космосе! – «Хорошо...» – полусонно ответил привычный к моим фантазиям Петр. – «Что ж хорошего, как мне на прогулку идти – по звездам, что ли?» – «Иди по звездам», – великодушно отпустил меня главный редактор.

И я стала с нетерпением ждать лечащих врачей, чтобы обо всем им рассказать, – к тому же, перед забором крови и ЭКГ не должна была ничего есть. Но Александр Николаевич, мой лечащий врач, уже, очевидно, прослышав о событиях минувшей ночи, сам нес мне творожный сырок, тоже галлюцинация, что ли? Над ним клубились пары морозного воздуха, сырок был обжигающе холодный (уже до этой встречи я «сообразила», что наш корпус «совершил посадку» и размораживается теперь от космического холода).

С ликованием я сообщила доктору, что вон там, за окном, стоит мой муж Устинов, которого даже мой дед не сумел убить. Я уже успела поговорить с ним в открытую форточку, а в ответ слышалось характерное нервное постукивание сигареты о металлическую пепельницу. «Он там, хотите посмотреть?» Александр Николаевич как-то дернулся вбок (а я еще подумала: вот Раюшкин бы точно посмотрел). Тут нас повели курить как раз на ту лестницу, где стоял мой Юрка. «Мой скворушка», – как назвала его я.

И вдруг передо мной неожиданно возник Александр Николаевич: «Сначала ЭКГ, потом курить» (а из-за спины уже неслось распоряжение Донары Антоновны: «Мариничеву – в первую палату!»). Но я очень хотела курить и попросила перенести ЭКГ на потом. И тут вдруг милейший Александр Николаевич клещами в меня вцепился, налетели еще трое-четверо докторов, стали меня от той двери отдирать (я же сопротивлялась, ибо не чувствовала за собой никакой вины непослушания), и вот они меня уже волокут по коридору под раскатистое заявление Донары Антоновны: «А я и не знала, Марина Владиславовна, что вы, оказывается, драться умеете».

В поднадзорной острой палате, когда меня уже «зафиксировали», самым важным для меня было то, что мои доктора Айна Насрутдинновна и Александр Николаевич стояли рядом, глаза в глаза, и держали мои руки в своих ладонях.

Потому что я увидела, как на их лицах начал опасно сгущаться золотистый цвет, стоило им отвести глаза от моего взгляда. «Не дай бог, еще китайцами станут», – в панике подумала я. Но когда они меня услышали и поняли, наваждение кончилось. И у меня просто родился образ золотистых людей.

## Несбыточный мой! Спасибо, За то, что ты есть на свете…

*Ю. Устинову*

Благодаря тебе я научилась
Быть адвокатом вечного стыда:
Защитницей Безумия спустилась
В тот мир, где беззащитна стала
я сама.
У любящих тому не научиться
И потому от имени Суда
За царственную щедрость
безразличья
Благодарю, благодарю тебя.

Я хлестала его и себя этими строчками, он лишь коротко вздыхал, будто всхлипывал. Друзьям признавался, что тоже любит меня. Мы оба слишком много вложили друг в друга, но каждый имел дело именно с той, вложенной в другого, половинкой себя, и половинки лишь резонировали друг с другом, не выходя за очерченный круг, где могла бы состояться встреча. Я винила в этом свою болезнь. Я встретилась с ним когда-то в разгар маниакала, и потому в терапевтических целях предложила ему попробовать отделить в памяти реальные ситуации и чувства от моих «заморочек». Так возникла наша переписка по электронной почте.

Ладно, Юрка, давай попробуем разобраться с моей болячкой (в аспекте ее, связанном с твоим образом в моей дурной башке) в режиме диалога, то есть я даю «картинку» ситуации с начала нашей совместности и далее, а ты (если вспомнишь, конечно) присылаешь по e-mail свой к ней комментарий-воспоминание (то есть мысли, чувства, ощущения) «с той стороны зеркального стекла» (это из Тарковского – помнишь? – стихи звучали в фильме «Зеркало»: «Когда судьба за нами шла по следу, как сумасшедший с бритвою в руке»).

Итак…

### Ситуация № 1. Знакомство

Сидим с Кордонским на встрече со Щетининым, в которого я

безнадежно и смиренно третий год влюблена – в первого человека после разлуки с Симой в 1978 году (с тех пор искала его «двойника» – то есть его уровень личности). Кордонский зовет спасать «хорошего человека». Я – в сильном подъеме, но пока без маниакала.

(...Мишка, привет, здравствуйте... Господи, а я в таком виде, стыдоба... Ладно, принимаем как есть.)

Следующий кадр: твое лицо на фоне ночного окна, сидишь за столом в большой комнате. Квартира на Садово-Черногрязской, полумрак. Говоришь, что ты – пепел. Моя мгновенная влюбленность с первого (в Мишу – со второго) взгляда в глаза, бороду, нос, руки.

(Кусочек света среди надвигающейся тьмы, это – та самая Мариничева, которая Алый Парус, которая Ивкин, Шумский, Рост, она настоящая, та, что проступала в публикациях, они не были категорией хитрости, они тоже настоящие, теперь я вижу, ей можно говорить все, но, кажется, уже поздно (...) Почему так пахнет парфюмерией, надо напоить всех чаем, надо улыбаться, она все понимает, вот праздник-то! Так и представлял...)

В гримасы страдания на лице. (С детства – хлебом не корми, дай кого-нибудь спасти – птенцов, выпавших из гнезда, девочку легкого поведения, мальчика-еврея...)

(Так пристально смотрит, так и запомнится на фоне темной стены – светлый взгляд в упор, тепло смотрит, я тоже могу, я давно держу удар, все забыть, вернуться в шестидесятые, там все было так, как она смотрит, я тоже так могу, сахара больше нет, это стыдно, надо принять по-человечески, это и вправду достойнейший человек.)

Следующий кадр: идем по мосту у Белорусского вокзала к моему дому на улице Правды, внутри – огромное спокойствие: а) нашла Того – Которого искала (с Мишей же сразу было нервно); б) сразу очень импонирует, что вызвался провожать меня до дома; в) чисто телесно-пространственное удовольствие от соответствия твоего роста моему, от темпа ходьбы, от твоей осанки (слегка сутулые плечи, но прямой шаг) – все мило, любо, все как надо, как должно быть (вера с детства). «Я рада, что вас нашла». – «Хорошо. Только давайте по-французски: без выяснения отношений».

(После бешеной скачки с рюкзаком по зимнему лесу – тьма не растворилась в снегу, грустные глаза ребят, Вовка сказал: «Давай не возвращаться из леса. Совсем». Приходится возвращаться, что? – меня нет, есть моя работа, она достойна внимания, так кажется. Почему внимания ко мне больше, ко мне ОТДЕЛЬНО от работы? Нет, это показалось, она говорит про меня как про мою работу, конечно. Почему тревожно? Я сам по себе ничего не стою и не представляю, главное – дело, надо рассказывать, рассказывать.)

Звучит элегантно, красиво – опять как надо. Веду тебя показать свое сокровище: горстка разноцветных хрусталиков (свернутая елочная гирлянда) на топазово-дымчатой прозрачной крышке моего проигрывателя. Включаешь – и такое волшебство перемигивается! У подъезда ты мнешься: уже поздно, а у меня дома мама. Но я упорна: как раз сразу и маме тебя надо показать (чтоб, опять же, как надо, то есть как в сказке: в первый взгляд, в первый вечер, и умерли в один день).

(Надо уважать привязанности и обстоятельства другого человека, вот сама Мариничева, позади – улица – подъезд – квартира – быстро – скромное тепло дома, как славно, растаять можно, но – нельзя, через час – снова драки, бои, скачки, какая занавеска, как у Эндрью Уайета. Да, и у меня было когда-то, какой-то уют, то, что казалось теплом, кто-то, где-то, что-то, не помню почти никакого так проникающего тепла, ну и не во мне дело, она теперь греет всех нас, слышишь, Вовка, в город можно возвращаться.)

Ты знакомишься, смущенно топчешься у порога и тут же откланиваешься. А у меня – полное ликование (пошел маниакал): радостно объясняю маме, что нашла как раз того, кто мне по плечу – то есть диагноз «вялотекущая шизофрения» и преследование со стороны органов. Вот он, мой подвиг! Женский подвиг! Жажда подвига, сам понимаешь, в социальных генах наших.

(Тепло так и осталось внутри, куда теперь с ним, ну – да, поделиться с ребятами, скорее, а то – вдруг – остынет, на подходе к дому – осторожно: нет ли «чумовоза» в извилине двора, там они обычно прячутся, санитары с сеткой заходят с черного хода. Но – пока тепло внутри, скорее.)

И что буду прятать тебя под диваном от органов. Это маму особенно «обрадовало» – до сих пор вспоминает, теперь уже со смехом. Представляю ее ужас тогдашний – ведь Щетинин еще не уехал из Москвы, я твердо шла в маниакал (хрусталики в топазе), а тут вот и еще радость подвалила... Но мама – молодец. Она никогда не показывала, как страшно ей от моего безумия.

## Ситуация № 2

Маниакал крепчал. Мама уехала обратно в Запорожье, потому я была свободна в своем безумии в коммунальной квартире с глухим дедом соседом.

Если в период первого, «щетининского» помешательства три месяца назад (апрель 1981 г.) я ночи напролет варила какое-то зелье в глиняном горшке (действовала по законам волшебства, ощущаемого мною каждый раз в подъеме и переходящего в действие в маниакале, когда я вступаю сознательно в эту игру), то теперь пришла пора духов и разноцветной туши.

Ночи вообще в ту пору были моими упоительными часами: я что-то рисовала, танцевала, постоянно переодевалась, глядя в зеркало – наутро вдруг становилась чудо как хороша. Это закон – в маниакале человек хорошеет. Да вот и, например, Зоя Ерошок (обозреватель «Новой газеты») всегда чудесно выглядит наутро после бессонной ночи, когда приходится срочно писать материал. Никакие салоны красоты, по ее словам, не могут дать такой эффект. А про мою красу мне Хил сказал, буквально остолбенев утром на пороге моей квартиры (накануне вечером он меня видел вполне обычной). И тут же стал выпытывать, сможет ли и он вот так похорошеть, помолодеть за ночь...

Тебе, наверное, трезвонила все дни. А в ту ночь без звонка побрела «расколдовывать» твой подъезд, прихватив все свои флаконы – остались от прошлогоднего дня рождения, когда Хил притащил весь ассортимент парфюмерного отдела какого-то магазина, ибо выбирать духи не умел, а тогдашние цены еще позволяли такую гигантоманию.

Входить в твой подъезд было страшно – на первом этаже была опасная тьма. Потому я тут расплескала побольше духов из разных флаконов и еще добавила по нескольку капель из пузырьков с тушью разных цветов. Разноцветьем и симфонией запахов я «переколдовывала» тьму во что-то радужное или хотя бы чистое. У меня чувство было в твоем подъезде сталинского дома, что на тебя какими-то темными силами «наведена порча». Повторяю, я такими словами не думала тогда, просто чувствовала НЕЧТО и действовала. А может, грезилось. Чувства, ощущения

тоже могут быть глюками, включая осязание, обоняние...

Помню и первый глюк того вечера: на одном из пролетов лестницы доска перил окончилась как бы сжатой крупной рукой – то ли чей-то кулак в боксерской перчатке, то ли, наоборот, дружеское пожатие чьей-то руки в перчатке рыцарской.

Ну а потом я поднялась-таки и позвонила в заветнейшую дверь.

...Может, у меня путаются две ночи. Два эпизода. Но все же, мне кажется, это было именно в тот вечер: когда переходила улицу к твоему дому, вдруг секунды на три-четыре всюду погас свет. Обрушился мрак кромешный. Ну в от, доползла до заветнейшей двери, ты открыл с недовольством (очевидно, все-таки уже достала частыми звонками) и поспешно ушел к телевизору – что-то с ним было не так. Я увидела в погасшем экране между стеклом и самим экраном (если такое возможно) иголку. Обычную. (Образ иголки сказочен со времен Кощея). Вот иголкой той я и объяснила короткое затмение на улице.

Потом началась морока с разрыванием своего ожерелья из маленьких эмалевых незабудок и одариванием ими всех, кто у тебя в доме был – бывшей жене тоже под ее дверь подсунула (это я тебя у всех «выкупала», чтоб и без тебя нашли свое счастье, я-то считала, что ты – абсолютное Сокровище, и так просто тебя мне мир не отдаст...) Одарила незабудкой и гитару твою, забросив цветочек вниз в круглую дырку в ней (не знаю название дырки). Ох, и орал же ты на меня! А с нами за столом на кухне еще какой-то парень сидел. Потом я стала жечь в пепельнице какую-то бумагу – помню, что эдак я жгла «ночь над Чили», то бишь власть хунты (кажется, наслушалась дома пластинку с песнями Фрейндлих из спектакля о Чили). Ты уже, кажется, готов был меня побить. А я в ответ заносчиво улыбалась. Это тоже типично для моих маниакалов. Не то чтобы «назло» кому-то действую, а, скорее, это демонстрация какой-то лихости: а вот она Я! Вуаля! (Это если по-французски.)

Фу, конец сюжета.

## Итак, ситуация № 3. Все тот же декабрь

Ну вот, зачастила к тебе в гости, влюбленная по уши. Глюков пока больше не было (все же удавалось высыпаться отчасти), но ведь и сама по себе пылкая влюбленность – уже болезнь, уже «маниакал». Стали мелькать твои ребята, особенно впечатлила и запомнилась, конечно же, Жека Эглит. Решительная, красивая, с прямыми летящими светлыми волосами до плеч, в рыжем лисьем меховом полушубке.

В один из дней ты мне дал почитать машинописные листочки – в них ты с кем-то по очереди развивал сюжет сказки, где действовал какой-то молодой человек и его дружок, некое сказочное существо, зверек по имени, кажется, Ламби – точно уже не помню. (Много позже я поняла, что это была твоя переписка из психушки с Жекой, как и то, что сама Жека тебя страстно в ту пору любила – да и потом, конечно же, тоже. Иначе откуда бы в ней взялась теперь такая острая ненависть к тебе?)

А я уже в те дни начала строчить тебе вечные свои письма, отдавая листки при встречах. И однажды я возьми да подпишись именем того сказочного зверька. Ты очень сурово, строго меня отчитал. Я решила, что просто нарушила одну из твоих заповедей: «Дорисовывай только свои рисунки». Но после подумала, что дело не только в нарушении заповеди, а и в том, что за этим именем стояла Жека...

Вообще, по-моему, ты старался быть со мной построже. (Что вполне понятно, если учесть мое тогдашнее полубредовое состояние, которое всегда пугает, раздражает окружающих.) Но я была очень настырной, абсолютно без тормозов. Помнишь, как-то оказалась совсем без денег возле метро «Колхозная». Позвонила тебе последней монеткой и бесстыдно попросила подвезти денег. Ты подъехал на троллейбусе и молча высыпал мне в руки горсть мелочи – других денег, как всегда, у тебя не было. День был яркий, солнечный, и я просто счастлива была тебя увидеть (думаю, и безденежье было для меня лишь поводом тебя повидать, вполне могла и как-то иначе выкрутиться). А накануне вечером отдала тебе свое «признание в любви» – помню, как упоительно было его строчить. Ты меня и за него строго отчитал, передразнив мое «яканье» (я восприняла это так, что очень уж эгоистично было с моей стороны упиваться этой своей любовью).

А вечерами, без спросу приходя к тебе и порой тебя не заставая, я вела долгие беседы с Викой и бабушкой о тебе, твоей тяжелой ситуации, находя массу выходов из нее, тут же кидаясь кому-то звонить. Бабушка недоуменно ворчала: «Прямо Дом Советов какой-то...», а Вика смотрела на меня с симпатией, одобрением.

Ты же, войдя в квартиру, кивал мне настороженно. Очевидно, больше, чем они, чувствовал мою «неадекватность». Сжимался внутренне, к тому же я здорово мешала тебе работать с ребятами. Помнишь, смутно почувствовав это однажды, я сделала вид, что ухожу, а сама уселась в подъезде на подоконник, поджидая, когда ты выйдешь. Вот вышел, увидел меня, взглянул встревоженно и обреченно, а я в своем ключе тебе ответила: «Будьте спокойны, Ваше величество!» Ты, по-моему, здорово испугался отчего-то

этих слов, втянул голову в плечи и молча стремительно рванул вниз по лестнице (или в лифт, точно не помню). Я удивилась: и чего это он в такой панике сбежал?

Надо сказать, ты и в дальнейшем как-то пугался этой моей «королевской» формы обращения к тебе. Много позже, едучи с тобой в лифте к Дихтерам, я стала напевать: «Виват, король, виват!» – и ответом мне был тот же твой испуганный взгляд. Но у меня с изначалья уже слагался твой образ «Короля Гор».

* * *

Приближался Новый год. Ты заранее меня предупредил, что тебя вечером 31 декабря дома не будет – кажется, у тебя было дежурство в котельной. Но я уже «поплыла» совсем, и ноги сами понесли меня в тот вечер к тебе. Сознание раздваивалось. В одном измерении я помнила, что тебя дома нет, но в другом, иррациональном, где я уже укрепилась, у меня шел постоянный «диалог» с тобой, и было неважно, где его вести, он был всепроникающим... Оказавшись в твоем подъезде, я остановилась у окна на лестничной клетке, продолжая вслух беседовать с тобой, прикасаясь к шершавой стенке и чувствуя, как все стены растворяются. Между нами нет преград – ни пространственных, ни временных. Лишь на миг вдруг ощутила себя «снаружи». И испытала жуткий, леденящий ужас: а вдруг Юрка меня не слышит? А вдруг я – одна?

... Очевидно, я громко бормотала, так как бабушка и Вика услышали, и стали меня из-за двери зазывать к себе, чайку попить.

Но я находилась в своем «хороводье» и идти в квартиру отказалась. Пошли глюки: увидела в нескольких окнах дома напротив каких-то оживающих мумий, туго запеленатых в серые одежды. И вовсю сигналили во дворе машины «скорой помощи». Я обычно всегда вижу эти машины или слышу эти сигналы непосредственно перед тем, как меня забирают в больницу.

К тому времени, когда я все же поднялась в вашу квартиру, бабушка с Викой уже вызвали «психовоз». Помню двух санитаров в белых халатах, помню застывшее лицо Вики с виноватым выражением. А я уже вовсю разбушевалась: почувствовала все же какую-то опасную преграду между мной и тобой, в воображении крутился Лермонтов со своими дуэлями, и я громко кричала, думая, что предупреждаю тебя об опасности: «Юрка, там барьер!» Имея в виду и барьер на дуэли, где тебя хотят убить, и барьер в духе «Чайки Джонатана»... Вот с этими криками меня и увезли...

Ну и слава богу. Прости, что замучила тебя этим бредом.

* * *

Вскоре Юрка перестал отвечать на мои «ситуации». Я же поняла: для меня это была лишь уловка длить и длить собственный самоценный монолог, перебирая ситуации, будто бусины.

Вскоре над ним опять сгустились тучи. И он уехал куда-то далеко, не оставив мне адреса. А потом через друзей передал свою книжку, где был рассказ, посвященный мне. Назывался «Ветка шиповника». Вот он.

* * *

«На твое лицо ляжет тень от ветки шиповника.

Шиповник-Любовь, тень любви призрачна и летуча, но если есть Свет Любви, значит, есть и тень.

Наберем ягод, это ранняя зима, после сказки, перед сказкой, после смерти, когда немы московские дворы, старые московские дворы Доброй Слободки, где вовсе нет шиповника, а его тени хоть отбавляй на склонах сердец, на стенах домов; но моя тишина не оскорбит их, останется вечный перекресток – Разгуляй, с керосиновой лавкой в начале Новой Басманной, булочной на углу с трехкопеечными "криушами" и сжимающими душу птицебулками с изюмовым глазом, их по-прежнему есть нельзя, но мы набрали немного шиповника, обколотые руки саднят на морозе, но вот он – порог, и вот тепло, все склоны и булки – позади, а через всю комнату – солнечный луч с искрящимися пылинками.

Вечер будет синий, с нашей улицы убрали трамвайные пути, пришла весна, марево асфальта застывает к закату, день готовит кристаллы снов, и от этой жизни не проснуться – выше – в настоящее пробуждение, только после, перебыв вами и всем, становишься собой и готовишься проснуться.

Теософия – хорошая наука, геометрия в девять лет – тоже, есть куча наук обо мне, но нет науки, которая я.

Это трагедия для ученых, классифицирующих шиповник, ибо нет его без тебя и меня, не светят неуемные фонарики в его колючках, лишь "холод пространства бесполого", к которому наука стремится и которого искусство бежит.

Трагедия для "ученых".

Но не она ложится тенью на твое лицо, а ветка шиповника; тень тает в синеве вечера, сладковато-тревожном запахе асфальта (дался этот асфальт, ни разжевать, ни проглотить...)»

* * *

Что ж, и в этом рассказе – лишь его монолог, помеченный общими для нас символами. Вот и получается: два монолога, устремленные вверх, вглубь – но только не друг к другу.

Надо смириться, быть лишь художественными образами друг для друга.

От образа нельзя уйти замуж.

Образ нельзя убить.

Он живет по своим законам.

Пусть это будут законы книжек, рассказов.

Будем аукаться строчками.

Ау, несбыточный!

* * *

Все поезда уходят к тебе беспрерывно, Юрка. Каждый миг, со всех вокзалов. И хотя мы больше не видимся, мне, наверное, весь свой век коротать с тобой и с этой болезнью, которой ты так подходишь, дорогая моему сердцу бесплотная тень.

Мы окончательно развоплотились в «бытовой», предметной, осязаемой реальности – и потому так прочен и так соответствует нам наш внематериальный союз. Ауканье текстами, образами, строчками, книгами... Потому я так и не смогу никогда проститься с тобой.

И все поезда уходят к тебе, Юрка.

Затухает моя боль, зарастает,
Будто занавес тихонько задвигают.
Тихо гаснут все огни:
Были ль? Не были?
Оставайся там один, в нашей Небыли.
Да хранит тебя крыло сна и вымысла.
Большего нам не дано.
Сбереги себя.
Сбереги, хоть мне назло,
сбереги себя,
Как убитое дитя, с поля вынеси.

Тень реальности за мной
скучно стелется.
Я очнулась – не суди,
что изменница.
Я себя не сберегла,
вся развеялась.
Ради Творчества ушла
из Бессмертия.
Видишь: продана сполна,
утром вывесят[2],
И распяты два крыла
у той вывески.
...Пробужденье мне дано
иль самоубийство?
Только ты, хоть не меня —
сбереги себя.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

*Ленке, сестренышу*

# Письмо из Москвы в Запорожье, 1968 год

...Ленка, Елена, Лена —
Снег отсырелый, прелый
Утром стреножит город,
Словно большого коня.

Время – стеклянный будильник,
День – календарный листик.
Бросаю в ящик для писем
Письма сухие я.

Но вслушайся: в твою комнату
Ветер, как гость непрошеный,
Рвется в дверную щель
И шепчет: «Не верь ей, не верь!»

...Как там тебе живется,
Мой повзрослевший Сестреныш?
Вздыхается как, поется,
Играется как тебе?

Ленка, Елена, Лена —
Слышишь? Идут олени,
Гордые, сильные звери,
Теплые, словно сны.

И ничего не нужно,
Пусть будет дождь и лужи,
Письма – обрывки маршрутов

Дойдут к тебе сквозь туман.
Если ж я вдруг погибну,
Что не спасти, не крикнуть,
И не встречать у причала,
И не увидеть лица —

На стол к тебе лягу книгой,
Веселой, растрепанной книгой,
Где в каждой сточке – начало.
И нет, и не будет конца.

# До «первой крови»

Приведу еще свой маленький рассказик о младшей сестре, который я написала в пятнадцать лет и который годится для понимания Ленкиной натуры.

**Последний день осени**
...Дремлет взрытая дорога,
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Пришла из школы домой и сказала сестре:

– А знаешь, Ленка, сегодня кончается осень.

Она пренебрежительно пожала плечами и заявила, что еще вчера об этом знала, и даже раньше меня.

– Ну как это – вчера? – возмутилась я. – Может, я еще месяц назад думала о том, что кончится эта осень, и даже стихи об этом написала.

Но Лена любит доказывать свое и тут же парировала, что знает об этом всю свою жизнь. А дальше – дальше она больше не спорила, потому что вспомнила, что я-то живу дольше ее на целых три с половиной года и мне давным-давно известно, что придет конец и осени, и идущей за ней зиме, и следующей весне...

* * *

Я уверена, что страдания самих душевнобольных из-за своей болезни не больше, чем у их родных, близких. Так вот именно моя младшая сестра более двадцати лет назад вынуждена была взять на себя всю полноту ответственности за меня, за мою болезнь. Мама тогда еще дорабатывала в Запорожье до пенсии, а из родных у меня никого в Москве, кроме Ленки и ее семьи, не было. (Мои мужья – не в счет. Лучше бы, может, у меня их вообще не было.)

Это она примчалась на квартиру к профессору, собрав всех, включая мою завотделом Татьяну Сергеевну Яковлеву и дежурного по городу психиатра, и они все вместе, конечно же, приняли правильное решение: госпитализация. Хотя Яковлева все равно упрямо твердила, сжав губы на свой особый манер: «Оля не

может сойти с ума».

Но вы только представьте, что сама Ленка при этом чувствовала! Позже она мне расскажет: всю жизнь у нее было убеждение, что есть старшая сестра, и круг ее друзей – ее защита, а сама она – в глубоком тылу. И вот в одночасье этот мир рухнул. Теперь она одна осталась на «передовой». И нет никого старше впереди, кто бы прикрывал ее…

К тому же вскоре жить мы стали на противоположных концах Москвы, я на севере, сестра на юге, так что длительное наблюдение за мной было невозможно, а ведь именно ей оказалась отведена роль решающего голоса: госпитализация или пока нет, проскочим? Тем более что до НЦПЗ РАМН госпитализировали меня на общих основаниях в Ганнушкина…

Как же я там ждала ее! Минуты ее задержки становились для меня трагедией.

Что и говорить, мы словно поменялись ролями: она стала старшей, я – младшей (надеюсь, только в вопросах моей болезни).

Мне повезло, что у меня оказалась такая задиристая, боевая сеструха, она никогда не раскисала… А когда самый первый раз везла меня в Ганнушкина в мареве моей платонической любви к Щетинину, она буквально дала мне продышаться сквозь вату и войлок растерянной заботы обо мне всех остальных: она вдруг заявила, что если за такие состояния людей держат здесь под замком, то и ее место – здесь! Пусть это была лишь вспышка озарения… И был солнечный апрель… А теперь она говорит, что из всей семьи я как бы на себя взяла роль душевнобольной, тем самым отчасти спасая, предохраняя остальных близких. Ведь все под Богом ходим.

А еще Ленке приходилось налаживать мои отношения (позже и с маминым участием) с племянниками – Ваней и Федей. И в депрессии, и в маниакале. Без сильного и храброго характера все это ей вряд ли бы удалось.

Ее задиристость – родом из детства, где мы, случалось, даже лупили друг друга. У каждой из нас теперь своя версия тех потасовок.

Поясняя суть драчек своим сыновьям, Лена твердо повторяет: драться нужно – до первой крови. Тогда драку сразу же прекращать. Говорит, что это наше с ней детское правило – чего я сама не помню.

В общем, повезло мне с сестренышем. В благодарность дарю ей по-новой те давние стихи:

«Ленка, Елена, Лена…»

А еще – впервые публикую наши с ней домашние сказки, записанные для ее сына Феденьки, когда он был маленьким

(нынче Федюха – студент физфака МГУ).

* * *

Самыми страшными оказались для меня за всю историю болезни эти девять месяцев маниакальной депрессии, которые по воле мамы я провела дома с зимы по осень 2006 года.

Со времени переезда в Москву маме стал принадлежать решающий голос: в больницу или так, дома «перетопчемся» (словечко нашей заведующей отделением НЦПЗ Донары Антоновны).

Надо сказать, что это по совету ставшей нам подругой, ныне покойной, Тамары Георгиевны Никулиной – завотделением в Ганнушкина – мы с мамой в свое время пробились в НЦПЗ РАМН. Вполне легально, через главного психиатра Москвы, не используя влияния и связей «Комсомолки», где я тогда работала на излете застоя.

Когда мы впервые появились там, мама испугалась: нас сюда не пустят, выгонят! Слишком шикарно... Не выгнали. Более того, с годами стали доверять (мне и маме) негоспитализацию даже в остром психозе, чтоб «перетоптаться» дома.

... Но вот ей уже восемьдесят лет, и нет той остроты и тонкости понимания меня и болезни. Она, моя Раиса Ивановна, конечно же, устала. И все же, от моей госпитализации, несмотря на просьбу Ленки и мою, мама отказывалась. На мою беду вдруг выдумала, что у меня нет никакого психического заболевания, а все это сахарный диабет (которого у меня отродясь не бывало, но от которого умерла бабушка Васенька, мамина мама).

Больше двух лет не прикасалась к этим записям, сочтя выход первой книги глубочайшей жизненной ошибкой. Вернее, вначале-то были и эйфория, и всяческая радость... Презентация в «Новой газете», своеобразное ее «продолжение» в ЦНПЗ РАМН во время нетяжелой депрессии и крутого маниакала – «отягощенного капремонтом» (см. соответствующую главку во второй части).

И вот – мир опять умер ровно в мой день рождения 19 февраля 2006 года – умирал, как всегда, постепенно, но в этот раз на небывалый, невозможный срок – целых девять месяцев...

Еще немного о сестре.

Она в последнее время занялась художественным переводом с украинского. И вот одна из ее украинских подруг-писательниц попросила ответить на вопросы о Лесе Украинке, о ее сказке-феерии «Лесная песня» с лесной феей Мавкой.

Вот что у меня получилось.

«...Имя это – Мавка – легкое, пружинистое, задиристое – по сравнению с именами русских фей и волшебниц.

Для меня Леся Украинка – как Марина Цветаева в России следующего, XX века. (Ахматова – Марко Вовчок?)

Сродни Лесе, как я это чувствую, из наших современниц – Верочка Матвеева (хотя масштаб все же несопоставим), вот для примера из ее песенки:

Не ищи меня, любимый мой,
Я ушла гулять по городу —
Просто вышла и бесшумно
За собой закрыла дверь.

И отсюда мне не выбраться,
Это что-то непонятное...
Заманил меня в ловушку
Этот город-крысолов.

Жарким лепетом безумного
Нашептал слова незряшные
И повел меня и бросил
В лапы вымыслов и снов...

Спрашиваете, как выживает Лесная Песня – в Городе-Крысолове? Как везде – молча.

Стихи – как бинты на раны.

Любимейшие мои образы в сказке Леси Украинки – перечисление одушевленных стихий. А "той, що в скалі сидить" – и вправду самый страшный. "По жизни".

А еще – Огонь. Образ огня. Ласковый, а не бесшабашно-неистовый – прожорливый.

О, не журися за тіло —
Легким вогнем загорілось воно.
Швидким, палючим, мов гостре вино...

Огонь – как прохлада, легкость. Единственный (по-моему) во всей мировой литературе такой образ огня. Милосердный, щадящий. И – «Грай же, коханий. Благаю!»»

* * *

Ну вот, а вслед за этой светлой лирикой – бр-р! – перехожу к тягостному психозу. Потерпите уж немного, милые читатели.

# Муляж. Имитация

*27 марта 2009 г.*

Из неоконченного письма Андрею Мурыгину той поры:

«Андрей! Никогда в жизни мне еще не было так жутко, как сейчас, за все годы болезни. Пока сидела дома с февраля – моя квартира стала мертвой. Мама – единственное существо, в котором теплится жизнь, а не ее имитация. Просыпаться утром – в мертвое пространство...»

Подробности психоза описывать не хочу – слишком тягостно. Вот лишь общие параметры.

Скособочилась Вселенная. Все квадраты = кубы стали параллелепипедами. Вместо прямых углов – косые или тупые. Зловещая темнота по углам. Люди и даже дети – гадкие, будто вылепленные из грязного пластилина.

Пишу не без оснований, что, похоже, в рекордно ранние сроки пережила все прелести обычного старческого маразма.

Чувствовала себя замурованной в склепе, куда доходили лишь механические звуки: электродрель от соседей, повторяющиеся удары, рокот бомбардировщиков по ночам (я была уверена, что идет война, но от меня родные это скрывают).

Телефон я отключила, радио и телевизор тоже, с ребятами своими я попрощалась – будучи уверенной, что никогда их больше не увижу...

В бреду, сконцентрированном вокруг моей квартиры, я осталась в XX веке, мне мерещилось, что мой дом на Стартовой – это роддом, где нельзя курить...

И я под жестким контролем мамы действительно бросила курить месяца на три, к тому же страшно похудела и пострашнела.

А самое непереносимое: гложущее чувство своей тотальной вины – перед мамой, перед людьми, перед Господом... Чувство вины для меня мучительнее, более поглощающее, чем даже чувство страха, ужаса – horror... Точнее, ужас своей вины. Что из-за меня гибнет все живое, и потому каторга эта – единственно возможный способ жизни для меня. Пригрезилось, что Ленка велела маме передать мне, что наука победила религию (чего, конечно же, в яви Ленка вспомнить не могла) – и в этом я тоже обвинила себя...

Можно копаться в этих винах и страхах до бесконечности, а можно просто принять решение: госпитализация и прием правильных, сильных лекарств, что Ленка с мужем Леней и прокрутили, потребовав специально для мамы у консультанта-

психолога (2 тысячи рублей за консультацию) письменного, с личной печатью заключения о необходимости срочной госпитализации. Но мама все равно обиделась на Ленкино и мое «предательство».

Может, подспудно одной из причин столь затянувшейся депрессии, да еще в маниакальной форме, было то, что один за другим ушли из жизни три самых близких, пожалуй, мне человека. Как только я пришла в себя, в Центре написала этот тройной некролог, с него и начну новую страницу своего бытия, так будет правильно. Статья была опубликована в моей «Учительской газете».

# Родники мои серебряные, золотые мои россыпи…

*Художнику Сергею Токареву,*
*барду Дмитрию Дихтеру,*
*педагогу Александру Тубельскому —*
*светлой их памяти на Земле*

Отшумело новогодье, после долгой болезни пытаюсь начать писать, но не могу этого сделать, не выплеснув хоть отчасти чувство пустоты и потери от внезапного ухода трех очень близких людей в прошлом, таком несчастливом для меня году.

Первым еще прошлой зимой разбился в автокатастрофе художник очень высокого класса Сергей Токарев. Им было по 57 лет – ему и родителям жены его сына Николая, актера театра имени Ермоловой… Помню, на прошлый Новый год он подарил Коле и Рите сразу десять пар домашних тапочек для гостей (в семье были проблемы, и Сергей хотел «склеить» их отношения). Мне он всегда дарил розы – плотные букеты полураскрытых алых с белым, желтовато-красных или просто белых, но не царственно пышных, а тугие пучки полураскрытых бутонов.

Это было совсем недавно – и это было так давно… На дворе был застой. Русский фашизм только-только поднимал голову. Битва шла за художественно-графический факультет МГПИ имени Ленина. Битва ортодоксов со школой Неменского (его последователями по новому, романтическому реализму в живописи). С факультета эти мафиози и бездари выжили всех приверженцев школы Неменского, включая и самого Сергея Токарева, дольше всех держалась Валентина Викентьевна, мама Сергея. Суды, статьи в «Комсомолке» 80-х – но мы тогда проиграли. И все же духовно победили.

В то время Сергей подарил мне пронзительную гравюру-иллюстрацию к чеховской «Каштанке». Бездомная худая собачонка с поникшей головой под косыми струями дождя и за ней – одинокий газовый фонарь на тротуаре.

Бесплатно, то есть вроде благодарности за поддержку «Комсомолки» в тех боях восьмидесятых годов, Сережа со своими учениками-художниками сделал нам Музей фронтовых корреспондентов: попросту встроил стеклянные витрины для фотографий и кратких сведений о тех, кто не вернулся в редакцию с фронта (был среди них и Аркадий Гайдар). Прямо в рекреации, где стояла стела с именами погибших работы художника Бродского.

«Дон Кихотом» Неменский называл Сергея за то, что тот все время кидался на амбразуры. Будто специально ждал и находил каждую следующую из них. И всегда – не за себя, точнее, не только и даже не в первую очередь за себя…

Впереди, после «Комсомолки», были суды по поводу «кондоминиума», а попросту кооперативного дома художников у Черемушкинского рынка, из которого выселяли хозяев-художников настоящие бандиты, забирая их мастерские под свои офисы. Нет, он не был даже председателем того кооператива, просто только он мог отбить и отстоять атаки на гаражи и металлическую ограду, зная назубок, как «Отче наш», весь функционал Мосгордумы и мэрии в придачу. Сколько его помню, он всегда судился… Кто такого выдержит? Два развода – и одиночество. Он всем помогал делать выставки – а у самого ни одной собственной персональной. Только с учениками и коллегами. Лишь почти год спустя после его гибели, 2 декабря, усилиями мамы удалось хоть что-то собрать из того, что он дарил или продавал в хорошие руки, не имея у себя даже фотокопий картин. Его картины очень хорошо расходились. На последней работе, что я у него в мастерской видела, изображены были сумерки. Прелестный и ностальгически грустный городской пейзаж в негустом ультрамарине зыбкого сумрака, темные ветви на этом фоне, смутный светлый силуэт старинного московского особняка стиля ампир… Уголок старой Москвы… Сергей кручинился и печалился о том, что истинно старинная Москва – исчезает…

На стенах его двухэтажной мастерской уже давно не висело никаких его картин, все с ходу продавалось… Ему были нужны деньги: внуки были очень болезненными детьми, да и сам Сергей был болен каким-то хитрым вирусом и постоянными депрессиями. Вторая жена, Аннушка, его ученица уже по ВГИКу, вначале поставила условием венчание, а потом сама же и ушла от него, когда он сутками дежурил у постели умирающей старушки – какой-то дальней ему родни… Продолжал заниматься судами, преподавал во ВГИКе, воевал теперь уже за мастерскую Неменского и при этом первым успевал ко мне хоть в больницу, хоть на день рождения, хоть на презентацию книги с неизменным тугим, плотным букетом роз…

В последний раз, что мы созванивались, он приехал из Кореи, куда его приглашало посольство в связи с выставкой его портретов корейских партизан – он успел организовать туда же гастроли театра имени Ермоловой.

Пейзаж с окрестностями Звенигорода, где Сергей каждый год снимал дачу и где мы когда-то сидели с ним на скамье, наблюдая

закат, в тяжелой золоченой раме он подарил мне на день рождения. Роскошный портрет (в стиле старинных мастеров живописи) Марии Карповны, матери нашего общего друга журналиста и преподавателя ВГИКа Юрия Данилина… Для посмертной персональной выставки пришлось собирать по друзьям его работы. Театральные декорации, иллюстрации к книгам, включая андерсеновскую «Русалочку»… Я впервые встретила художника, подлинного мастера с таким равнодушием к собственной известности и вообще человека с таким подлинным рыцарством Дон Кихота… Был он, конечно же, если и не от мира, то уж точно не от века сего…

Мудрый человек, мой друг академик РАО Борис Михайлович Бим-Бад сказал как-то о таких людях: «Человек посмертной славы». Правда, речь шла о другом очень близком мне человеке – барде Дмитрии Дихтере. Мы с Бимом тогда еще не знали, как близок для Димы этот рубеж… Осень 1968 года, мой первый курс журналистики МГУ, запруженная студентами в разноцветных куртках и рюкзаках площадь у метро «Университет». Сбор на слет КСП. И над всем этим маревом, перекрывая шумы большого города, властвует сочный, раскатистый, смеющийся голос: «Вот как будто бы сначала начинается судьба…» Завороженная, иду на голос. Высокий парень с копной кудрявых волос и выразительно-некрасивым лицом Кости Райкина, в исступлении перекошен рот, весь лучится мажором и бьющей через край энергией – легендарный уже и тогда Дмитрий Дихтер из не менее легендарного ансамбля МАИ «Жаворонки». Уникальное по силе таланта мужское четырехголосье. После МАИ – работа в знаменитом КБ Сухого. Дима считал самолеты самым красивым воплощением мечты человека. Но случился Афганистан, Дихтер стал получать отчеты, подписанные генералом Руцким, о разрушениях и количестве убитых с помощью самолетов и вертолетов, разработанных в КБ. Пацифист по убеждениям, Дихтер оставил любимую работу. К этому времени уже состоялся их лучший среди исполнителей авторской песни дуэт с Галиной Крыловой. Постоянные гастроли, работа в жюри слетов и конкурсов, особенно среди юношеских клубов – Дихтер и Володя Ланцберг стали мэтрами юношеского движения КСП. Вскоре они с Галиной открыли собственную школу-студию «Остров», о которой не раз писала «Учительская газета». Это стало основным детищем его жизни. Хотя и сам по себе он был очень востребован: постоянные гастроли по Западной Европе, в Израиле… Технарь по образованию, по внутренней культуре Дима был истинным гуманитарием с безошибочным чутьем красоты и трагизма в поэзии и музыке. Исполнял в собственной аранжировке песни на

стихи Шекспира, Тютчева, Мандельштама, современного поэта Петра Кошелева, предпочитал камерные сольные концерты многотысячной аудитории Грушинского, где приходилось, как он говорил, петь в темноту, словно в пустоту, не видя лиц и глаз слушателей… Когда случилась беда, чуть было не расколовшая студию (Дихтер влюбился в ученицу, был вынужден уйти из дома на съемную квартиру, Галка жила на пределе, натянутая как струна, и все же им удалось уберечь коллектив от раскола). Димка часто приезжал ко мне отвести душу – ведь в моих депрессиях он был моей главной «жилеткой», принося то угощение, что самому хотелось бы съесть, мы болтали, гуляли вокруг пруда, и Дихтер развивал свою любимую тему. Он говорил, что хочет построить настоящий корабль с настоящими алыми парусами, и тут же «заводился», обличая литературного капитана Грэя: как же это тот утверждал, что «чудеса надо делать своими руками», ежели его корабль был сооружен и подарен ему матушкой на ее собственные сбережения? Тем временем Галка была вознаграждена за долготерпение: влюбилась и вышла замуж за чудесного человека Лешу, тоже родом из МАИ. Школу-студию они продолжали вести все вместе… По просьбе Димы Галка и Леша его диагноз, рак легких, долго скрывали от друзей. От Леши с Галей позвонили летом: Дихтер умер, захлебнувшись собственной кровью. Так вышло, что я сама лежала в депрессии почти весь минувший год, потому не была на похоронах, и мои друзья в моей памяти – только живые… Школа-студия «Остров» носит теперь имя Дмитрия Дихтера.

Но и это еще не все.

Родные оберегали меня от травмирующей информации, телефон был отключен, и потому я попала в жуткую ситуацию: в сентябре набрала номер Тубельских, подошла Лена, вторая жена Александра Наумовича (а с первой его женой ему не очень-то повезло, ибо это была я сама), спросила осторожно: «Ну как вы там?» (Саша перенес шунтирование сердца, но образ жизни не изменил, курил и сбегал из всех санаториев в школу к детям). Лена ответила не сразу: «Ты разве не знаешь? Саша ушел в мае…»

Из трех моих невосполнимых потерь прошлого года имя Тубельского, пожалуй, более всех на слуху. Его «Школа самоопределения личности» – в числе первых по рейтингу среди московских школ. Авторских школ, известных по именам их директоров. Я безутешно продолжаю ощущать острую надобность и незаменимость таких педагогов-борцов, как Тубельский, в любые времена, включая день сегодняшний… С упорством, граничащим с занудством, он дрался за каждую мелочь в своей и в коллективной авторской концепции школы, во всем умел

находить и обосновывать педагогический, политический, социальный принцип. Обнажал противостояние чиновничьего – и сущностного, жизненного начала в педагогике. Шестидесятник до мозга костей, он прошел общую для наших романтиков эволюцию от веры в светлое будущее в отдельно взятой стране до веры в демократию в отдельно взятой школе как в условие и основу демократизации всего общества. Внешне школа Тубельского представала как полная вольница на грани анархии, калейдоскоп экзотических личностей педагогов и не менее экзотических предметов, театрализация и, если по Бахтину, карнавализация всего школьного уклада (кстати, это его авторский, очень емкий термин: уклад)... Но внутри, в основе этого уклада – наиболее мучительный для человека дар небес: свобода выбора. Чуть ли не на каждом шагу, каждодневно, в каждой ситуации: вот перед тобой варианты – выбирай. В каком классе учиться, по какой программе – определяйся! Такое вот самоопределение non-stop.

Последние годы вместе с постоянными болями в сердце его мучили депрессии, но и тут он не умел расслабляться, отдыхать – перечитывал сверхсложного философа Щедровицкого и удирал в школу при малейшем облегчении. «Не могу больше», – позвонил мне прошлой весной из санатория виноватым тоном: врачи, жена, все друзья умоляли его хоть немного еще подлечиться. Ленка сама была на пределе, измучившись ходить вместе с ним, как по лезвию бритвы. «Понимаешь, – виновато продолжил Саша, – дети снятся... Не могу без школы».

...Я понимаю: все трое, о ком я сейчас пишу, были вопиюще несовременны в смысле «буржуазности» с этими своими амбразурами, баррикадами, надрывами, мечтаниями и метаниями... Можно вспомнить Льва Гумилева с его теорией пассионарности, а можно просто признать очевидное: подлинную культуру творят не здравомыслящие буржуа, как и не профессиональные революционеры и политики, а некая особая порода людей, столь явственно проступившая в личностях тех, кого я, кого мы все лишились в прошлом году. И потому этот мой запоздавший «некролог» да будет просто еще одним мягким, как след на снегу, контуром, очертившим земной путь каждого из них, а дальше – дальше идут цепочки следов их учеников, последователей, друзей и близких, зрителей и слушателей... И этим цепочкам, я верю, очень долго не будет конца...

# Реанимация, реинкарнация…

Из этих трех ушедших друзей ближе всех в отношении моей болезни был Дима Дихтер (во второй части книги вы могли найти подтверждение тому).

Потому, наверное, выход из депрессии в маниакал шел у меня на сюжете о нем. (А само оживление мира началось с цветка – первым ожил цветок.)

У меня появилась новая, совсем молоденькая докторица Полина Евгеньевна – худенькая, стройная девушка со строгим хвостом светло-русых волос, почти без косметики. Мне в ней сразу же понравилось соединение молодости, современности и глубокого, научно-практического интереса к своей профессии и к больным. С ней сразу же становилось светло и спокойно. Радовало ее строгое рациональное мышление, соединенное с широтой понимания наших, пациенток, закидонов.

Я считаю, у нее большое будущее!

Но вернемся к настоящему, точнее к недавнему прошлому, к последнему моему маниакалу в стенах НЦПЗ полтора года назад, перед 2008 годом.

Усилия по «воскрешению», реанимации начались у меня с Димы Дихтера – а там и до Бориса Николаевича Ельцина было рукой подать, ну просто на соседней койке…

Я уже не помню, как оказалась в поднадзорной палате (похоже, я из нее и не выбиралась, либо просто забыла). Это было в дежурство медсестры Ольги Павловны, которая в моем восприятии была на связи с моей любимой медсестрой Татьяной Сергеевной (в мании я считала ее «инопланетянкой). Теперь Татьяна Сергеевна, как мне сказали, уволилась, но в моем бреду она просто поднялась на следующий «уровень» – этаж. Мне ее очень не хватало – просто так, поболтать… Но Ольга Павловна, я была уверена, постоянно консультировалась с ней.

И вот началась эта ночь. Я знала, что все готово к операции. Дихтера надо было «тормозить», ибо у него уже выросли крылья, а нам он очень нужен был туточки, на Земле – или хотя бы в некоей переходной форме… (Почему-то тут вспоминается сероватый лик Александра Блока, каким его увидел и запечатлел в «Розе мира» Даниил Андреев. У Дихтера всегда был сероватый цвет кожи.) Тогда его вселили в меня (или меня в него), чтобы выполнить операцию под наркозом по удалению крыльев (вполне плотских, надо сказать). И получилось! И тут же на соседней койке заворочался Борис Николаевич Ельцин (он в реальности уже тоже умер к тому времени). Ну, это уж пусть без меня, –

решила я. Тем более что из санитарок дежурила пожилая женщина, вылитый двойник Александры Николаевны Юмашевой, мамы моего Вальки Юмашева (капитана «Алого паруса» в прежней «Комсомолке», члена нашего клуба «Комбриг», затем главы администрации Ельцина). А она уж разберется... Я тогда еще не знала, что и Александры Николаевны тоже нет на Земле. С санитаркой мы впоследствии подружились, хотя я упорно продолжала называть ее именем Валькиной мамы.

* * *

Итак, Дихтера я «тормознула», он остался где-то в промежуточном пространстве. Совпадение между тем и этим миром еще и в том, что их домашний с Иркой (молодой вдовой) телефон по-прежнему отвечает голосом Димки на автоответчике, и в том, что очень длительная, многомесячная канитель была с захоронением урны с его прахом...

* * *

Я ни на что не «намекаю», просто грущу, ибо он из тех, кого с каждым годом все больше не хватает.

Ну а в ту ночь «реанимации» я еще успела увидеть Устинова, он выкатывался в коридор из кабинета врачей на инвалидном кресле – увидел меня и вкатился обратно. Я попросила у Полины Евгеньевны тетрадку, в которую занесла сей бессмертный бородатый облик и кучу своей «тайнописи», и тут же отдала ей на прочтение, в бреду не понимая, что прочесть это просто невозможно. Там же в свернутой форме были наброски статьи-некролога...

Дальше шли несколько дней, а то и недель бреда в жанре карнавализации бытия – к примеру, я была уверена, что идут съемки видеофильма об этом нашем карнавализированном бытии. А заходя в курилку в туалете, я всегда уходила в дальний угол к окну и приветствовала своего скворушку-сверчка Устинова, который, конечно же, видел меня и слышал...

О чем, о чем, о чем
Поет чудак-скворец?
Про золотой ларец
С потерянным ключом.

А в том ларце на дне
Есть маленький дворец:
Сто окон, пять дверей
И башенка в конце.

А в башенке живет
Всего один жилец.
Но кто он? – мой скворец
Об этом не поет...

Ну а потом – были обычные для меня предновогодние будни: выпуск новогодней стенгазеты, подготовка концерта с моим неизменным коронным «хитом» из Вознесенского:

В час осенний, средь рощ опавших
Осеняюще и опасно
В нас влетают, как семена,
Чьи-то души и имена.
Это переселенье душ —
В нас вторгаются чьи-то тени,
Как в кадушках растут растенья —
В нервной клинике триста душ...

Новый год я встречала в больнице. С радостью принимала друзей с визитами. Но в этот раз не было – и уже никогда не будет – моих самых верных визитеров: Дихтера, Токарева, Тубельского...

Разве что в «ирреале».

Улетело прочь несбыточное
На обычных парусах...

Но вернусь к основной теме: попытка понять раздвоение моей жизни, личности, его истоки. Конечно, они густо замешаны на «личном», на женском.

...Та речка кровавая из моего сна во второй части была отголоском гинекологии, в которой я лежала около месяца, и все это время шли схватки. Я лежала вся в крови. А рожать меня отвезли ночью на каталке в пустую комнату со столами, крытыми холодным алюминием. Резко щемило сердце. Санитарка дала мне какое-то сердечное лекарство. Рвало. Я выла от боли. Наутро пришел доктор. Родился восьмимесячный крохотный мальчик

сизого цвета: «Котенок!» – дрогнуло в душе небывалым чувством. Он умер спустя день, моя звездочка. Тубельский стоял под окном с повинной головой. Он ведь оставил меня в тот вечер на всю ночь одну, ушел к другу (мы все время ругались), когда пошли схватки, «скорую» я вызывала сама, и по ступеням сползала одна, теряя ошметки крови.

Я не виню своих мужей в абортах и выкидышах: скорей себя. Во мне никогда не было жгучего желания иметь ребенка. Лишь ожидание особой, безмерной любви. Несбыточной. И в школе, и в вузе, и потом – несбыточной.

И это при том, что я сознаю: «образ» мой весьма далек от истинного романтизма и тем более целомудрия, да и просто чистоты... Нелегко в этом признаваться, но таков жанр.

Ну да, мне остро не хватало в моем городе Запорожье ни Большой Дружбы, ни Большой Любви. Прижавшись щекой к стеклу, я загадывала: вот он войдет в троллейбус, и мы сразу друг друга узнаем. Вот обернется в толпе...

Один из моих избранников, Вовка Борисов, жил в моем подъезде этажом выше. В детстве меня водили к нему в гости, и я жутко пугалась красной ревущей автомашины, едущей ко мне по ковру. С тех пор мы выросли. Мне было тринадцать, ему четырнадцать. Был он густоволос, кареглаз, и даже нос туфлей не мешал его светлому облику в моих глазах. Долгими вечерами я стояла у своей двери, прислушиваясь, не щелкнет ли его замок, а я тут как тут «неожиданно» окажусь на лестнице. Часы проходили в потаенном ожидании. Пару раз замок щелкал, но шаги были не его. И вот как-то зимним вечером мой избранник стал явно спускаться. Но что это? Дошел до середины пролета, где в нашем подъезде находился балкончик, и вдруг снизу послышались чьи-то легкие шаги. Балкончик выходил во двор, как и окна моей комнаты, я метнулась к окну, выключив свет. И на освещенном проеме балкона, отраженного на снегу, увидела две фигуры: Вовка и какая-то девочка. Они долго там стояли, жестикулируя. Пусто и зябко стало на душе. Но вот они, наконец, ушли.

Я, тоскуя, всмотрелась в темный двор. И неожиданно увидела там давно стоящую фигуру с лицом, поднятым к моему окну. Задохнулась: кто-то ждал меня, именно меня, а я печалилась об этом Вовке! Схватив одежонку, выскочила в полночь.

Под зимним светом искрился ладненький снеговик. Опять обманка. Вот так всегда.

...Уже много-много лет спустя вдруг получаю конверт с листочками, исписанными красными чернилами. Пишет взрослый человек о мальчике, каким он был, когда учился со мной в одном классе, как стеснялся заглянуть ко мне в тетрадку, как долго шел

поодаль, провожая меня домой... Я задохнулась от щемящей радости, не в силах отгадать, кто же это был? И вся моя школьная юность счастливо преобразилась. Внезапно зазвонил телефон. Я слышу голос моего друга, кинорежиссера Альгиса Арлаускаса. Осторожно расспрашивает и огорчается: «И ты – поверила?! Я же там свой адрес написал, хотел тебя заинтриговать!..» А я – поверила...

Опять обманка.

Конечно, в шестнадцать лет был у меня мальчик с правого берега Днепра, Леша Расевцев – круглолицый, добрый, слегка пришепетывал. Но не из тех, кого бы я ждала с замиранием сердца. Просто провожал домой, пару раз поцеловались в подъезде. Ну, чтоб как у всех. А так, как только у меня, – такого не было.

Другое дело томный бледнолицый красавец Сергей Манежев. Мы познакомились зимой десятого класса на Всесоюзном сборе победителей школьных сочинений. И участь моя была решена: еду в Москву, на журфак. В хорошеньком мини-костюмчике с кружавчиками по кокетке, который сшила мне мама. Высоченный томный мой избранец жил в высоченном особняке, который построила еще его прабабушка. В Неопалимовском переулке – ах, что за музыка в самом этом названии!

Гласно мы часто встречались втроем еще с одним парнем с того сбора, Юрой Прозоровым, он поступил на филфак, читали стихи. А негласно... так и простояла я всю зиму под его окнами в короткой шубейке и белых колготках. Несбыточная любовь еще и не таких требовала жертв.

В моей московской «топографии любви» имя Манежева стоит первым... Позже дом тот снесли, я застала бульдозеры.

Потом буйно зацвела черемуха на Ленинских горах, и один симпатичный философ-отличник со второго курса философского факультета МГУ совсем потерял из-за меня голову: стал прогуливать лекции, зачеты. Ах, как мы истово целовались под черемухой! Потом в комнатке на Ломоносовском проспекте, где мы с девчонками жили, мне прикладывали пятаки на губы, так распухли. Его посягательства на большее я спокойно отвергала. Знала бы, что будет позже, согрешила бы под черемухой. Помню, он пришел на площадь у главного здания университета, где собирались перед отъездом на целину автобусы, и принес мне книгу, как организовать театр кукол (я ехала начальником детского лагеря при отряде). Я знала, что вижу его в последний раз и книгу не отдам.

Я ехала в Казахстан со студентами Института восточных языков, они считались у нас этакой белой костью (у нашего

журфаковского отряда не было детского лагеря, а к стройработам меня врачи не допустили – артрит, отморозила коленку в Неопалимовском). Автобусы и потом вагоны поезда были забиты огромными резиновыми мячами и множеством игрушек, которые я получала на фабриках бесплатно в порядке шефской помощи. Ребята были породистые, чуть надменные, но я и сама была из английской спецшколы, быстро усвоила их стиль (если б я знала, чем это для меня кончится, я бы вовсе не поехала с ними).

Ивяшники работали вполсилы. По вечерам парочки разбредались по степи (в отряде было пять девушек). По краям бескрайней плоской степи полыхали зарницы. Одна из девушек, как я подслушала, «крутила динамо», что очень не одобрялось в мужской компании (а потом, уже в Москве, эта парочка взяла да и поженилась!). Мне очень нравился Саша Зорин – чуть лысоватый блондин в дорогих очках и с гитарой. А дружила я с высоченным и худющим Кокой Дуткиным, троечником и сыном генерала. Он учил меня скакать на лошадях по степи. Зорин нравился еще одной девочке из Прибалтики, та курила. Чтоб ни в чем не отставать, пришлось мне, давясь, научиться курить.

В последний вечер все пили вино прямо из бочки, черпая ковшом, потом разбрелись по степи, Зорин выбрал меня. И очень удивился, что ничего серьезного я ему не позволила. Потом, уже в Москве, с обидой заявил: «А что ж ты стихи только Коке писала? А мне?» Кока (Колька) жил в огромной квартире с широченными коридорами, мы ходили в Манеж ездить на лошадях, нас туда провожала мама Коки, моложавая жена генерала. И всегда оставляла нам пустую квартиру. Но что-то во мне претило отдаться даже милому Коке.

Приручи меня, приручи меня,
Привяжи меня ниточкой имени.
Не сердись на меня, не кричи —
Нежным именем приручи.
Ты большой и немного грустный,
Твои добрые руки любят
Дети, лошади и грачи.
Приручи меня, приучи.
И неважно – любишь, не любишь,
И неважно, что скажут люди.
Ты – хозяин, бери ключи.
Приручи меня, приручи.
Спят звереныши в мягких норках.
Не пускай меня ночью в город.
Как зайчонка, за уши держи.

Приручи меня, приручи.
Там причалы тайгою пахнут,
Паруса там туги и громадны,
Там вокзалы шумят, сопят,
Как медведи в берлоге, не спят.
Не удержишь – я в их кутерьму
От торшеров, от лестниц сбегу.
Я привыкну к повадкам лисьим
И к воде родниковой, чистой,
Стану дикой, голодной, ничьей.
Стану жить среди звезд и зверей
Пусть останется в песне мой голос,
На пальто – зацепившийся волос,
И вот эти мои стихи.
Все равно, просто так – приручи.

Очень остро ощущала себя ничейной, ничьей. Не приручалась. Ох, и ревели же мы с Кокой в четыре ручья посреди дождя в телефонной будке! Всхлипывая, бормотали о том, что почему-то должны непременно расстаться, но навеки запомним эту будку и этот дождь.

А осенью восстановилась компания ивяшников, включая тех, кто не ездил на целину. Девицы отнеслись ко мне надменно-презрительно, уверенные, что я «со всеми переспала». Но у меня появился защитник – Бурбоша, Жорж Бурбо, обрусевший француз из Прибалтики. С рыхлым, блеклым веснушчатым лицом и обвисшими щеками. Лучший на всем курсе каллиграф (японист – рисовал иероглифы). Всегда приглашал меня танцевать, провожал домой. Я бы давно сбежала из этой чопорной компании, если бы вдруг, поджидая их у входа в студенческий театр, не увидела сквозь косо летящий снег подходящего к девицам рослого, широкоплечего человека в меховых шапке и куртке, много старше всех остальных, с мужественным лицом. О таких говорят – «полярный летчик». О таких, естественно, и можно только мечтать.

Участь моя была решена. Его звали Юра Белин. Он давно уже застрял курсе на третьем, и жизнь его была изломана. Сын разведчиков, воспитывался за границей в преклонении перед Советским Союзом. Оказавшись в четырнадцать лет в «земле обетованной» и увидев, что здесь творится, сам пошел служить в КГБ, чтоб «бороться за чистоту идеалов». Ко времени нашего знакомства весь пыл подрастерял, не раз лежал в «психушках», но сохранил мощный интеллект, владел многими языками, был

красив, задумчив и доброжелателен. Он жил на том же этаже в высотке на Ленгорах, что и Бурбоша, тоже в одноместном «пенале». Я любила бывать у него, слушать его собеседников, особенно мудрого, совсем седого негра с несколькими образованиями. Юра заворожил меня мощью и глубиной, даже моя подруга по общежитию Ленка влюбилась в него без памяти. Но он всегда держал дистанцию. Ленка вечерами стояла у него под окнами (такая, видно, была у нас привычка), я сочиняла стихи:

Вспоминай иногда обо мне
Через версты и дым сигарет.
Просто так вспоминай обо мне,
Я не знаю, к чему и зачем.
Это будет, как легкий снег,
Это память о рук тепле.
Я пишу на вагонном стекле:
Вспоминай иногда обо мне.
Заблудилась в окне луна
Белой рыбой в морозной сети,
И бегут, бегут провода,
Как морщинки у глаз твоих,
Пусть сменяется утром ночь,
Пусть не будет ни слов, ни встреч —
Я приду, как приходит дождь,
Как олени бредут на свет.
А пока вспоминай обо мне,
Просто так вспоминай обо мне.

Однажды придумала какой-то хитроумный повод, чтоб остаться у него на ночь. Он постелил мне на диванчике, а сам лег на полу. Вровень с моей головой были его сильные, покатые плечи и морщинки у добрых глаз. Но я уже знала: он не посмеет даже пошевелиться, не то что обнять меня. Это было мучительно, так люб он мне был. Что-то еще раз сочинив, я собрала вещички и отправилась пересидеть ночь к постылому Бурбоше. А тот вдруг заявил, что я сделаю его инвалидом. Мало что в этом понимая, я поверила. Потом смыла кровь в душевой и равнодушно пожала плечами своему отражению.

А наутро – жесткий стук в дверь. Облава. Студенты юрфака периодически устраивали рейды, вылавливая особ противоположного пола в номерах «высотки». Задержанным грозили серьезные последствия. Дали время одеться, я молча вышла и пошла вдоль ряда суровых молчаливых парней. Бурбоша

остался стоять с опрокинутым бледным мучнистым своим лицом, что я и отметила с презрением.

В комнате штаба я честно призналась, что такое у меня впервые, но к подобным заявлениям им было не привыкать, старший уже начал заполнять бумагу мне на факультет, тут я разревелась и сказала, что теперь никогда не смогу писать стихи. Как ни странно, это подействовало. Меня отпустили.

Вышла на остановку автобуса. Было утро. Передо мной били часы на высокой башне. Я заметила время и усмехнулась: ну вот, мне как раз восемнадцать лет. В срок потеряла невинность.

В душе была пустота.

* * *

Но следующие годы отнесли меня очень далеко от несбыточного.

По сути, я стала обычной жизнерадостной вертихвосткой, авантюристкой. Мне, к примеру, очень нравился тот сдержанный, статный парень Олег с «чеховской» дачей, года на два старше меня, а пылким ухажером был Сергей Севрюгин из Бауманского на год младше. Мы бурно целовались, Сергей забрасывал меня стихами:

Никчемный, нелепый, ненужный зиме,
Но нежный и верный дождь в январе.
Опять уверяешь: забудь обо мне
А я налетаю, как дождь в январе.
Твердишь – ну и что же? – о разнице лет.
Но все же возможен дождь в январе.
Ты помнишь о ливне, и что я тебе —
Смешной и наивный дождь в январе.
...Напишешь, что утром ты видишь во сне
Такой безрассудный дождь в январе.

Я читала эти стихи Олегу, он вдумчиво вслушивался, дергая ус, стихи хвалил, велел, чтоб я этого парня ценила. Тогда я решила выйти за Сергея замуж с одним условием: свидетелем у него будет Олег.

Свадьба была в «Арагви», и кульминацией моего торжества было, когда однокурсники вынесли мне на подушке очки Олега: он вусмерть напился с горя...

...Мы снимали комнату у самого края леса на Открытом шоссе, бывало, на опушку выходили лоси. Сергей целыми днями

лежал на диване, а я бегала по коммунарским сборам, слетам самодеятельной песни.

В белых густых ромашках
Хлещет шальной дождь.
А у меня однажды
Был молодой муж, —

писала я, заранее с ним прощаясь. Вскоре тайком от мамы с помощью папиного друга гинеколога я сделала аборт. Сергей мне был не нужен. Но еще предстояла практика в газете южного города, откуда он был родом. Мне было стыдно, что родители Сергея меня «приняли всерьез», а у меня это было «понарошку»! Хотя честно пыталась Сергея растормошить, водила на задания, учила писать. Но – напротив меня в кабинете сидел блистательный журналист Валентин Герасимов, не спускавший с меня ярких карих глаз. Вскоре вся редакция собралась ехать на автобусе к морю, я решила ехать без Сергея...

Утром он пришел меня провожать и очень хотел войти в автобус, я не пускала. Автобус стоял на крутой улице, с придорожных яблонь гулко падали яблоки и катились вниз по мостовой. Этот стук яблок я запомнила незабываемым укором.

Набегали на ощупь волны на песок.
Ночь была короткая, как перочинный нож.
Ах, милая школьница, шелковый бант
Чертит что-то ножичком на крышках парт.
Не режет он – ранит, и боль в ногах
Русалка на палубе танцует вальс.
Думаете – просто: из сказки в жизнь?
Ноженьки, ноженьки, больно, держись!
Что же это, что ж это – кровь в висок?
Как же это, как же это – на губах песок?
Полусонной осенью все смывает дождь
Помнится, колется короткая ночь.

Боль от измены сменялась удалью, когда прочь летели все условности этого условного, ненастоящего брака. Дождавшись, когда Сергей уснет, я прыгала прямо в окно с нашего первого этажа и бежала к Валентину, чей дом был по соседству. Однажды возвращаюсь, а у окна сидит свекровь, поджидает меня. Уж не помню, что я ей наплела, но такое чудовище, каким я была, и помыслить трудно.

Чтоб избавиться от всей этой грязи, решила, вернувшись в Москву, затеять развод с Сергеем. Сначала уехала от него в дальнюю поездку в Кирилло-Белозерский монастырь, куда он писал мне длинные любовные письма. А я – в ответ:

Уехала, не помню и не больно.
Твое письмо, доверчиво-слепое,
А знать – труднее, не любить – труднее,
Здесь снег идет в зеленые аллеи.
Прирученного мне не надо счастья,
Себя бы в руки взять до ломоты в запястьях,
Как в камне сжал веков и ветра стынь
Кирилло-Белозерский монастырь.
Лишь колокол звучит скупым признаньем.
Я сохраню навек его молчанье.
Надтреснутое, мудрое молчанье
Дороже мне малиновых стозвонов,
Что дом пустой обходят стороною,
Слетает пепел с сигареты стылой.
Прости, я разучилась быть любимой.

Приехав в Москву, я объявила Сергею о разводе. Он в нашей общаге на Ленгорах устраивал истерики, симулировал самоубийство (запирался в душевой и наматывал на шею тоненькие бечевки, закрепляя их на палку для шторы, для пущего эффекта делал легкий надрез на руке и измазывал лицо кровью). Чем вызывал во мне еще большее презрение.

Отправив его к родителям, перед которыми чувствовала глубокую вину, я осталась с опустошенной душой и с бесприютной нежностью к Олежке.

Сонный скрежет листьев сонных
На моем сыром окне.
Будто где-то очень больно
Чьей-то коже и душе.
Легких бабочек наплывы
Тихо падают в огонь,
Для меня не ты – мой милый,
И не я – твоя любовь.
Мне доказывать не надо,
Что большой беды в том нет.
Только ноет старой раной
Неотправленный конверт.

Казалось, сама его добропорядочность и основательность сдержат мои авантюрные всплески. Но вот мы оказываемся на летней практике, он в Петрозаводске, я в Архангельске. И, заболев сильной ангиной, вдруг беру авиабилет до Петрозаводска и сваливаюсь к нему на выходные в общежитие. Он нисколько не был шокирован, устраивает меня в чистой коечке, а сам садится писать информацию в газету. Я еще тогда подумала, что уж больно с трудом ему дается такое простое дело.

Гуляли с ним по Петрозаводску, он был нежен и заботлив, но никаких слов признаний так и не сказал. Пребывали с ним в неопределенности до конца четвертого курса, когда нас обоих включили в поездку в ГДР. Так мы бродили парочкой, воодушевленные и веселые, и нас почему-то принимали за французов. В последний день пребывания пошли тратить оставшиеся пфенниги по пивным заведениям на Унтер-ден-Линден. И вот, с трудом удерживаясь на ногах под каким-то деревом, Олег делает мне предложение. Добавив, что я должна буду уважать его родителей. Его отец, известный драматург, и мать – писательница очень многое для него значат, но мне почему-то это дополнение кажется неуместным, и вообще я с ужасом обнаруживаю, что за прошедшие годы любви и стихов очарование Олега как-то померкло. Ловлю себя на подлой мысли: ну, может, хоть дача в Переделкино и папина машина меня удержат…

Чинный дом на Кутузовском, где мы живем с родителями, непременные две сосиски с гречневой кашей по утрам, непременная тишина, когда «папа работает». Церемонные застолья, куда мы с младшей сестрой и друзьями вносили дух капустников, переодеваний, эпиграмм…

Вскоре родители покупают нам однокомнатную квартиру на Герцена: встроенные шкафы светлого дерева, яркие занавески… Олег подолгу разглядывает меня на подушке, подперев голову рукой, и резюмирует: «существо». Ребенка считает преждевременным, надо сначала написать диплом, усаживает в горячие ванны, помню, как иду по зимней улице и с грустью обращаюсь к своей девочке (я чувствовала, что будет девочка): ты здесь никому не нужна… И через день – угроза выкидыша. На вопрос в гинекологии, будем ли сохранять ребенка, Олег долго молча дергает ус, тогда я решаю за обоих: сохранить. Но уже поздно: выкидыш. Ночью лежала без сна, выли собаки, и мне казалось, это после «чистки» мою девочку выбросили собакам на помойку…

Жизнь наша с Олегом потускнела. Однажды я расплакалась: купи котенка, пусть хоть что-то живое будет. Олег послушался.

Котенок был совсем крохотный, он спал вместе с нами. И однажды я обнаружила рядом с собой холодное тельце. Олег сам вынес его в коробочке и спустил в мусоропровод.

А меня все больше захватывала жизнь в «Комсомолке», где я стала работать после университета. Яркие, талантливые люди, атмосфера высоких идей и розыгрышей... В газете была романтичная полоса для подростков «Алый парус», а капитаном его был Юрка Щекочихин, любимец всей редакции, сам вечный подросток. Его кредо было «Умри за строчку». Мы стали дружить втроем: я, Юрка и семнадцатилетний поэт Андрюшка Чернов. Юрка любил, обхватив нас за шеи, прижать лбами друг к другу и так долго стоять, будто надышаться нами не мог. Помню, заехали в какую-то деревню, спали в избе на русской печи, и Юрка вдруг сказал: «Нарисовать бы картину, где все линии жизни смяты, а через все полотно тянется уставшая, упавшая рука художника». Он всегда жил взахлеб, сминая все линии жизни.

Вечерами на Герцена я закрывалась на кухне и до полуночи, а то и позже, говорила по телефону то с Юркой, то с Андрюшкой, и никак мы наобщаться не могли, а ведь только что расстались.

... В тот день шел дождь, и на тротуарах стояли огромные лужи. Юрка, как всегда, провожал меня до моей престижной высотки на улице Герцена. Помню, на площади Восстания я подняла ногу, чтоб перешагнуть лужу, и вдруг слышу: «А слабо тебе бросить все это?» (короткий кивок в сторону нашей с Олегом высотки). И, опуская ногу на другую сторону лужи, я вдруг выпаливаю: «А не слабо!»

В тот же вечер, прихватив раскладушку, ушла в никуда.

Юрка был по определению бездомный. Те квартиры друзей, куда он меня притаскивал, повергали меня в ужас. Ежедневные попойки, затем веселые любовные утехи. Юрка в них не участвовал, он или засыпал сразу, или исчезал в ночь. Я же, отсидевшись пару бессонных ночей на чьей-то кухне, в итоге вдруг обнаружила себя в постели с высоким худым смуглым красавцем-брюнетом, оказавшимся егерем в далеком лесном краю. Он тут же стал звать меня с ним жить в тайгу и отпустил, лишь только заручившись адресом подруги, к которой я решила сбежать из этой веселой компании.

На следующий день в квартире подруги – звонок в дверь. На пороге стоит егерь с моим самодельным портретом его кисти, и рядом с ним – Олег. Егерь тут же испарился. А Олег велел мне собираться домой: «Ты же пойдешь по рукам», – с горечью заявил он. Но продержалась я у него всего неделю. Друзья сняли для нас с Юркой квартиру, кое-как обустроили, и участь моя была решена.

После тяжких потуг Олега по вымучиванию заметки я была по контрасту просто влюблена в блистательные, феерические тексты Юрки. В его способность собирать за столом самых ярких людей и до утра петь под гитару. Часами напряженно прислушивалась к тишине коридора, ожидая его возвращения с ночного дежурства. Долго махала ему с балкона, когда он на рассвете отправлялся в командировку своей подпрыгивающей походкой, подняв плечи, похожий на Щелкунчика, и розовые от рассветного света голуби вспархивали с обеих сторон его пути.

Острое, щемящее чувство никогда не отпускало меня с Юркой. Вокруг него всегда было приподнятое настроение, как на нескончаемом празднике. На песчаной косе под Одессой, разделяющей море и лиман, заходим по очереди в каждый домик, увитый виноградом, пробовать молодое вино. Радушные хозяева, легкое опьянение, веселые друзья. Напившись вволю, бежим к морю. Юрка вбегает в волны со всего размаху, распевая во все горло: «Доброе море, хорошее море!»

В Одессе в луна-парке только он мог меня затащить на американские горки, которых я смертельно боялась. На безумно крутых поворотах визжу от страха, Юрка хохочет во все горло.

Всюду у него были необыкновенные, сказочные друзья. Он их выдумывал. Бывало, в Москве кто-нибудь из них подходил ко мне и тихо каялся, что он ведь совсем не такой. Но Юрка жил в своей особой, фантастической реальности.

А хмурая Москва опять встретила нас бездомьем. И однажды на квартире у друзей он вдруг грустно произнес: «Куда же потерялся он, хрусталик дня в начале марта?» Для меня это было равнозначно в признании, что любовь кончилась. Собрала вещи и уехала к подруге. Он звонил и грозно требовал: «Сегодня вечером ты вернешься». Я не вернулась.

Потом, когдая уже снимала квартиру в Бескудниково, друзья притащили его ко мне на день рождения, но он делал вид, что не замечает меня. Я как крапивой ошпарилась обидой. Оставив друзей на подругу Таньку Исмайлову, сорвала шубу с вешалки и умчалась домой к Учителю. Он лишь накануне водил меня в ресторан, ухаживал, спрашивал, не свободна ли я, услышав подтверждение, заявил, что тоже свободен, стал провожать, поднялся ко мне и надеялся на близость.

А тут эта близость случилась мгновенно. Назло Юрке.

Чувство к Учителю обрушилось внезапно и всепоглощающе. Я преклонялась перед его мышлением, духовностью, высотой личности. Он приговаривал: «Люби мои книги, и я всегда буду любить тебя». На книгах этих я выросла, и по-прежнему его статьи служили камертоном всего лучшего, что во мне было.

Правда, его «свобода» оказалась весьма относительной: имелся дом с женой и детьми, где он должен был находиться по выходным и представлять перед гостями благополучную семью. Все остальные дни он жил отдельно в снимаемой комнате, в которой «папа работал». Не только мне было горько. Когда я при нем ставила пластинку Эвы Демарчик с песенкой про Томашув («А может, нам с тобой в Томашув сбежать хоть на день, мой любимый...»), он мягко обнимал меня и печально произносил: «Я зна-аю, о Юрке думаешь...» Он чувствовал меня лучше, чем я себя. Юрка снился мне всю жизнь. Под окном квартиры в Бескудникове цвела огромная поляна незабудок.

Теперь их уже никого нет в живых, моих мужей – ни Щекоча, ни Симона Львовича, ни Олега. Как и Тубельского.

Жизнь не то что сбылась, а прошла, как бы и завершилась вместе с их уходами. Но нет же, мне, настырной, опять подавай Несбыточное!

Хоть в образе «Гарри», хоть в образе Юры Устинова... Какое-то кощунство получается... Как говаривал последний, седьмой по счету муж Леонтий: «Утроба ненасытная».

Вот откуда, видно, то чувство тотальной, кошмарной вины. За раздвоение жизни и личности и чересчур пылкое воображение, подменяющее, подчиняющее себе реальность, тем самым поглощая ее собой и обескровливая.

«Алиби, алиби»?..

Но есть, есть у меня в запасе «алиби» – беспроигрышное по нынешним «фрейдистским» временам.

Кстати, свидетельствую: очень у многих пациенток наших заведений существуют проблемы в личной, интимной жизни. Что не удивительно. Скажем, лесбиянство или «бешенство матки» с неизбежными терзаниями по поводу своей «стыдной» особенности не может не деформировать психику. Но и частая смена мужей, как выяснилось, тоже относится к числу этих проблем.

Уже упоминавшийся мною Миша Кордонский как-то заметил: «У меня есть знакомая тоже с твоим диагнозом и тоже – семеро мужей».

...Стоим в курилке с потрясающе красивой высокой молодой женщиной Светланой. Иконописный лик, гладкие черные волосы с пробором, коса до пят. На лице – застывшая маска депрессии, в глазах боль, едва шепчет: «Я никак не могу доплыть до реальности...».

А реальность эта у нее просто превосходна: только что вышла замуж (в пятый раз) за прекрасного человека – очень красивый моложавый седовласый пастор лютеранской церкви, ученик Александра Меня (отец Александр, исповедуя экуменизм, оставил

своих учеников во всех христианских конфессиях). На прогулке хором с пастором увещевали красавицу остановиться, больше не менять мужей (пастор тоже, как и я, чувствует в этом стержень ее болезненности), принять наконец ту реальность, которая у нее есть, вроде бы согласно кивает, глядя на мужа, а губы беспомощно шепчут свое, словно из какого-то далекого далека: «Как мне до этой реальности доплыть?»

...Не хочу всех стричь под одну гребенку, да и «спецопрос» среди своего контингента на эту тему я, ясное дело, не проводила, но все же не могу умолчать о ставшей мне известной «простой» отгадке множества подобных сложностей. Я не собиралась вначале этого делать – слишком уж интимна да и вульгарна эта «отгадка», – но взятое на себя обязательство быть честной в попытках добраться до всех возможных истоков болезни победило.

Потерпите, коротко не получится.

Так вот, в самом начале болезни, да и книги тоже, я в качестве «последней правды» о себе считала неизживаемое противоречие между чувственностью, доставшуюся от «гулены»-отца, и кристальной, пусть и нежизненной чистотой маминых представлений о любви, о том, что и как должно быть в отношениях мужчины и женщины, чтобы было «высоко» и «чисто». Сказать, что насаждала она мне эти представления «каленым железом», значит ничего не сказать. Слава богу, сама она эти кошмарные сцены начисто забыла. Но я подспудно ощущала какое-то неистребимое, телесное отвращение мамы ко мне – подростку, будто к генам «ненавистного Вфладьки». Ее намеки, суть которых я понять не могла, заставляли считать себя «по определению» грязной нечистью, хотя реальных поводов к тому вовсе не было.

Ну а потом – Москва, вольница! Вот, наверное, этот коктейль, эта горючая смесь папиной влюбчивости и маминого целомудрия во мне и взорвался, сдвинув в итоге крышу набекрень, когда самих грехов набралась уже критическая масса. Примерно такой была потаенная схема моего самообъяснения, при том, что я искала именно истоки, но – не оправдания. Есть себя поедом я всегда умела мастерски.

И вот как гром среди ясного неба лет десять назад вдруг свалилось на меня неожиданное «алиби» – в самый неподходящий для этого момент. Мама тяжело заболела. Надо сказать, до этого она совершенно не думала о здоровье. И вот вдруг начались обмороки с короткой потерей сознания, прямо на улице, но и это не изменило ее образ жизни. Она совершала никому не нужные подвиги, таская с рынка тяжеленные рюкзаки дешевых продуктов,

устраивала марш-броски на другой конец Москвы к обожаемому внуку Феденьке, тоже вся обвешанная поклажей, – и никто и ничего не могло ее остановить. Пока однажды ночью не свалилась с дивана, да так, что у нее элементарно «поехала крыша»... На фоне общей запущенности сердечно-сосудистой системы начался густой бред. У бедняжки была предрасположенность – в молодости во время острого стресса, в период развода, уже в новой квартире она мне как-то поведала: «Открываю дверь, а в большой комнате трое чертенят кружочком сидят: двое черненьких и один беленький...»

Мы с сестрой были в панике: если в больницу, то в какую? В психушку, в кардиологию? В психушку я бы ее ни за что не отдала, а в остальном решили пока справляться с помощью частной медицины (мы тогда еще свято верили в какой-то особый уровень этого новшества). Сестра с мужем через Интернет находили медицинские фирмы, и у нас в квартире что ни день стали появляться бригады разномастных и безупречно учтивых специалистов в нарядной фирменной форме. (Это только потом мы разобрались, что они были, как правило, врачи-совместители из тех же государственных больниц, крепко державшиеся за свои места. А деньги мы им платили – из маминых запасов «на черный день» – по сути, вот за «сю-сю ля-ля», ну разве что еще за качество аппаратуры.)

Все они говорили разное и, забегая вперед, скажу, что эту тягомотину наконец-то прервала хорошо знавшая нашу семью участковый терапевт, вызвав обычную «скорую помощь» и госпитализировав маму в обычную горбольницу. Когда наши мужчины-соседи выносили ее на одеяле вниз к машине (ходить она не могла из-за страшной боли в спине после того ушиба), я увидела по ее глазам, что психически маме стало легче, свет разума начал возвращаться, а в приемном покое, куда примчалась сестра, она и вовсе очнулась. На вопрос Ленки: «Ну хоть сейчас ты понимаешь, что у тебя крыша поехала?» – мама потрясенно залепетала, еще с трудом ворочая языком: «Никогда не думала, что это может случиться со мной...» Дальше последовали годы лечения в разных отделениях с минимальной психиатрической составляющей (мои профильные лекарства ей все равно были противопоказаны – возраст, да и приступов острого бреда после тех страшных полутора месяцев больше, слава богу, не было).

Ну а теперь вернусь к главному виновнику этого моего рассказа. Он появился в составе одной из тех сводных платных медбригад в качестве кардиолога. Пока его коллеги исполняли свои ритуалы, он оглядывал «поле боя» (та еще картина: мама лежит в кухне на полу на сбитых матрасах и одеялах и лепечет

что-то вдохновенное про фонтаны и дворцы – это ей чудилось, будто она у меня в такой роскоши проживает...) Я в коридоре стенку подпираю со своим лучистым «подъемным» блеском в глазах... Кардиолог отозвал меня в сторонку и объяснил, что по базовой многолетней специализации он сексопатолог и потому знает наш общий с мамой психиатрический диагноз, проистекающий из его профиля: унаследованное отсутствие оргазма.

Я подивилась остроте его глаза и про себя подумала: «Неужели все так просто? Не реализованная до конца сексуальная энергия бьет в голову, усиливая и без того неслабое воображение, фантазирование – и пуще всякой безнравственной распущенности гонит к смене и поиску новых и новых партнеров? Вполне возможно...»

Тут, кажется, кардиосексопатолог совсем забыл о маме и полностью увлекся расспросами о моей особе. Попросил обменяться телефонами и продолжить консультирование. Следующие дни он достал меня своими звонками, страстно призывая воспользоваться его помощью (после специальных вопросов он обрадованно объявил мой случай очень легким). Но так как у него не было своего прежнего сексопатологического кабинета, то помощь свою он предлагал у меня на дому...

«На фиг ты мне здесь сдался», – злобно подумала я, только представив себе эту увлекательную картину на моем диване с больной мамой на кухне и попробовала переориентировать его профессиональный интерес к моему другу-бисексуалу. Но друг застрял в раздумьях, кем же он все-таки хочет быть, мужчиной или женщиной, а без этого выбора врач помочь ему не мог... Меня же этот виртуоз продолжал терроризировать звонками и призывами стать, наконец, «счастливой женщиной», так что я в итоге резко его отшила, пристыдив: до того ли мне сейчас, когда с мамой такое творится? Кажется, ему и впрямь стало стыдно, и он то ли отстал, то ли я о дальнейшем общении уже забыла. Но не сам его диагноз, о котором стала с тех пор упорно размышлять, осторожно выспрашивая кое о чем особо близкие мне семейные пары друзей, еще раз прокручивая в памяти историю семейных отношений родителей...

И все же столь интересную для всех тему на этом я прерву, ибо свои выводы куда продуктивнее вкладывать в доверительное общение с молодыми людьми, чем в эксплуатацию этой темы в тексте – без меня охотников пруд пруди.

Что же касается «анализов истоков» болезни, то их набралось так много, что принять за тотальную «последнюю истину» хоть один из них представляется невозможным. Остаюсь на позиции

врачей моего отделения: истоки эти неисповедимы, все факторы надо изучать и учитывать (кстати, и впрямь очень бы пригодился в наших заведениях штатный сексопатолог), но любой случай индивидуален и, добавлю от себя: многое в болезни зависит от выбора нравственной, духовной воли самого человека.

Для меня этот выбор таков: каждый имеет право видеть то, что он видит, слышать то, что он слышит (это созвучно словам Дэзи из «Бегущей по волнам» в защиту права Гарвея видеть то, чего не бывает: явившуюся к его шлюпке прямо по волнам Фрэзи Грант, когда он терпел бедствие в океане). И более того, истолковывать все виденное и слышанное так, как созвучно именно ему самому. Даже если речь о «бредовых картинах» мира – пусть лечение помогает, пусть свободная работа разума потом корректирует эти картины, а что-то все равно упрямо остается в области мечты...

Так и в интимной жизни: кто-то сам выбирает помощь специалиста (но хорошо бы без уверенности оного, что он-то и есть главный держатель акций «счастья» женщины ли, мужчины), кто-то, как я, ее отодвигает, ибо по моим взглядам искомое счастье – все же во встрече «двух половинок» в полноте принятия друг друга, абсолютном доверии... И тогда даже высшая, считай, святыня современной цивилизации, особенно в массовой культуре – Его Величество Оргазм становится, в общем-то, вопросом скорее «техническим». Но это же не значит, что сам по себе, вне душевно-духовного контекста оргазм несет в себе и свет, и тепло любви...

Так что, остаюсь при своих интересах.

# Поземка из детства

Борис Михайлович Бим-Бад как-то предложил писать «портрет эпохи» – через свою личную жизненную историю, прежде всего – историю детства (у него в Университете, знаменитом УРАО, пока его не отобрали, был даже Музей детских воспоминаний – не столько знаменитых, сколь просто людей).

Мне захотелось.

* * *

Из всех любящих и любимых избранников мое детство приютилось лишь под крылом Симона Львовича. Почему-то так получилось. Может, дело просто в том, что собственная фраза «мое детство бежит к твоему и пересекается с ним» родилась и обожгла меня особой пронзительностью, когда мы с ним пришли в квартиру его мамы на Сретенке, где висели в рамочках его детские фотографии. И я испытала потрясение до покалывания в пальцах, выразившееся вот в той самой фразе – очевидно, речь шла о потрясенности чувством полноты, цельности, тотальности приятия нами друг друга, вплоть до срастания детствами. (Теперь уже трудно это передать и понять – ощущения, да и чувства выдыхаются, как духи в открытом флаконе, но всегда на дне остается если даже не капля, то хотя бы тень их запаха...)

...Вот уже и Сима ушел из жизни, а сквозняк моего детства гуляет по Сретенке, где мы однажды встречались в той квартире его мамы. Сквозняк, вырвавшийся из массивной арки дома в Запорожье, где я жила. Там еще надпись была: «Ремонт часов с гарантией». Надпись эта так часто повторялась на каждой часовой мастерской в моем городе, что казалась мне верхом тупости (если и так везде «с гарантией», зачем об этом писать?), и я решила: когда вырасту, буду отдавать часы только в ремонт «без гарантии».

Сквозняк заносит с южных улиц моего города поземку отцветших белых акаций – в Москве эти деревья наперечет, а в Запорожье они мощные, буйные, их соцветия – любимое лакомство ребятни. Ее у нас называли «кашкой». Срываешь сразу целую гроздь – и засовываешь целиком в рот, будто ветку красной смородины, один черенок остается. Только кашка слаще и духовитей смородины. Бывает, в самую сладость, в желтоватую середку белых соцветий забираются пчелы – и тогда не зевай, поскорее раскрывай рот, чтобы пчела вылетела, а не цапнула за

язык.

...А на московских улицах – в память о той поземке я признаю только сугробы опавшего вишневого цвета вдоль кромок тротуаров, и всегда старательно зарываюсь носками туфель в эту шуршащую белизну. Еще люблю по осени так же шуршать палой листвой.

...Арка того дома, где я родилась, была тяжелой, солидной, в ней всегда царили полумрак и прохлада, даже в самые жаркие дни. Дом был тоже солидный, основательный – его строили еще пленные немцы, о чем в городе говорилось с уважением. И как раз возле арки был подъезд, в котором жил Вовка Лопач. В него я была влюблена в третьем и четвертом классе. Влюблена, скорее, по необходимости, просто остальные мальчишки были совсем плюгавенькие.

А я была абсолютно убеждена, что обязательно нужно быть влюбленной. Вот ведь и все песни по радио и телевизору – про любовь, даже строчку из песни «Я люблю тебя, жизнь», что транслировалась по репродуктору у кинотеатра «Родина» на всю площадь, я воспринимала по-своему: «...И вершина любви – это чудо великое, дети». Как объяснение детям, что именно вершина любви – это чудо великое, а вовсе не сами дети. Так и пронесла я это ошибочное заключение через всю жизнь. Детей у меня нет. Метет, метет сквозняк-поземка из того города, из той арки, из заповедного подъезда Вовки Лопача (я любила тихонько подниматься к нему на этаж и подолгу замирать с гулко бившимся сердцем у его двери, честно отрабатывала обряд влюбленной). Это чувство незримо оседает на Сретенке, в квартире, где я жадно вглядывалась в детские фотографии Симона Львовича на стенах. Тайком оседает – мы ведь поначалу и встречались тайно.

Тут я бы могла сказать, как та девочка из гайдаровской книги: «Но мы не разбивали голубую чашку!» (В Симином очерке о Гайдаре этому предшествовала фраза: «и только одна храбрая девочка на болоте» крикнула, что нет, не разбивали.)

Так мне тоже тогда казалось.

И все-таки я разбила голубую чашку – в тот день, когда он окончательно переехал ко мне, в убогую квартирку в Химках, которую я снимала. Но все равно тот зимний день – сколько уже жизни прошло – до сих пор мне помнится особенно счастливым. Он позвонил от метро, сказав, что ушел из семьи и едет ко мне, и я тут же помчалась к нему по улице Правды из редакции «Комсомолки». Весь мир был в свадебном уборе: аллея кленов на улице Правды и далее аллея лип на Ленинградском проспекте были пышно убраны легчайшим инеем... Не скрою, в душе было

ликующее торжество. (Про его семью я вовсе тогда не думала.)

* * *

Борис Михайлович Бим-Бад как-то рассказал мне, что первая трещина в его детском цельном сознании произошла в деревне летом. Был он воспитан, как все дети его возраста, дети военного детства – на книге про «двух ясных соколов» (так она и называлась): Ленине и Сталине. А оказавшись летом в деревне, куда их с братом вывезла мама из послевоенной Москвы, он, девятилетний, вдруг увидел то, что никак не вязалось с цельной и ясной правдой той книги: опухшие от голода дети прилипли носами к окну, когда они с братом ели привезенную картошку. Мама не вынесла этого, позвала ребятишек к столу. Они с жадностью ели и – почти сразу же их стало рвать: не выдержали желудки, забывшие еду...

Голодные опухшие дети и – мужики, которые при упоминании имени Сталина отворачивались, злобно глянув, и молча плевались.

Я подумала: и десяти лет нет разницы в возрасте, а будто разные эпохи детств! Я родилась в 1951 году.

В моих старых букварях портрет Сталина еще присутствовал в обрамлении вишневых цветущих веточек, но все дети давно знали, что Сталин – плохой, он хорошего Ленина исказил, а теперь у нас опять все хорошо. К тому же мы, послевоенные, рождались и росли в атмосфере особой любви к детям, к жизни, охватившей страну после победы.

Как любили детей отцы и деды-фронтовики, победители!

Борис Михайлович помнит голодуху в селе в сороковых годах, для меня же, помнящей себя с трех лет, то есть с 1954 года, в памяти прежде всего неизменная ежедневная шуршащая фольгой плитка шоколада в кармане дедовского пальто. И изобилие конфет в кондитерском, и овальное панно с веселым кондитером в белом колпаке и тортом в руках над этим изобилием, и бьющие фонтаны по дороге к парку... Потом это как-то иссякло, усохло; особенно жаль мне было каменные фонтаны, стоящие теперь безжизненно с потрескавшимся сухим дном. На ощупь помню дедовское пальто. Хотя он умер, когда мне было три с половиной года. В год смерти Сталина. Говорят, загадочной смертью, говорят, что он был кадровым разведчиком на войне, а потом и на гражданке, работая начальником цеха на «Запорожстали», как, может, и моя бабушка, администратор гостиницы...

Даже мои родители ничего толком об этом не знали. Могу лишь сказать, что бабушка очень любила Хрущева, восхищаясь им у телевизора.

День смерти Сталина я, конечно же, абсолютно не помню. А вот день смерти деда был белым-белым. Я сидела на корточках у бордюра клумбы с белыми мелкими цветами, ко мне подошел отец в белых парусиновых туфлях (я даже головы не подняла, только туфли помню) и сказал что-то несусветное про деда. Я, конечно, ничего не поняла, никаких похорон не помню, лишь отпечаталась в мозгу на всю жизнь белая вспышка той катастрофической вести.

Остались коробочка с орденами, военные фото и дедушкин припев нашей песенки-игры «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!». Девиз всей моей жизни.

Пароль моего детства – «Сикет» (то есть – секрет), вполне в духе внучки разведчика… Всегда была и осталась болтушкой, но если кто-то говорил мне: «Это секрет», то клещами из меня тайну вытащить было невозможно. Так было с моей семнадцатилетней теткой Илькой, которая на прогулке упустила меня из виду, и я свалилась под решетку какой-то ямы. Моя юная няня ужасно испугалась, что ей влетит, и умоляла никому не говорить: «Это наш с тобой секрет». Но никто из взрослых так и не выведал, откуда у меня ссадины и синяки. «Сикет!» – отвечала я, вздернув подбородок.

А еще осталась на небе звездочка – это бабушка рассказывала мне, что, отправляясь на фронт, дедушка договорился с ней каждую ночь в одно и то же время смотреть на эту звезду и мысленно друг с другом переговариваться.

Право же, эта звездочка мне куда важнее, чем знание о том, служили они в органах или нет.

Ленка, моя младшая сестра, вздыхает о нашем деде, который уже умер, когда она родилась: «Ты успела пожить в раю…» Ибо ее раннее детство происходило уже в аду родительских скандалов.

Моей «трещинкой» сознания стал, по-моему, раздрай, разлад и развод родителей. Маме так и сказали в Ганнушкина: «Если бы вы не развелись, Оля бы не заболела». Сталин же для меня был уже прошлогодним снегом. В стенном шкафу была дедушкина библиотека – полное собрание сочинений Ленина и такое же – Сталина. Ленин был в твердо-синем переплете, Сталин – в глухо-красном. (Впрочем, я и тут ярче помню желтовато-белый кристалл какого-то камня, лежавший для украшения на полке). Так вот, классе в четвертом меня осенила прекрасная идея: сдать Сталина в макулатуру, раз уж он так выгодно тяжел. И я, втихаря от взрослых, снесла его всего в пункт приема макулатуры, и в

семье меня не ругали, просто странно посмотрели и замолчали сей факт.

# Пирамидки

...Вот так мы – каждая в меру своих самокопательных способностей – раскручивали в беседе с докторами и друг с другом свою жизнь, погружались в детство, отрочество, юность, пытаясь найти концы тех ниточек, из которых соткался узор болезни.

Тут, в клиниках, я взрослела и теперь вот старюсь. Очень тревожит, что все больше в лечебнице представителей не только старшего возраста (я-то помню даже еще кусочек сталинизма), а наоборот, молодежи. Детей перестройки и постперестройки. Им по 16, 17, 18, 20, 25 лет... Совсем ребенки еще эти девчушки. Умницы, красавицы, далее по тексту.

Как-то, в период капремонта, нас собралось в НЦПЗ сразу пятеро – выпускниц и студенток МГУ: мехмат, юрфак, психфак, две с журфака... И стали ломать голову, что же это с нами творится? Почему – болеем, хотя, вроде, не самые тупые, сплошь отличницы, да и прегрешения наши – впрямь ли так чудовищны?

За что же нас, Господи? Но это с какой стороны посмотреть. Из песни в исполнении Елены Камбуровой:

> Сколько народу! Мы с тобой – невидаль.
> Стража, как воду, ловит нас неводом.
> Добрые люди в гуще базарной,
> Ах, как вам любы мы с обезьянкой...

Ясно одно: мы – немного иные. Другие. Странные.

Ведь и в традиции русской классической словесности встречаем прямо противоположный обывательскому страх безумия. Часто повторяем за Пушкиным: «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума...», опуская при этом, что боялся-то Александр Сергеевич вовсе не самого безумия («Не то чтоб разумом моим я дорожил, не то чтоб с ним расстаться был не рад»), а лишь санкций по отношению к несчастным со стороны общества («...тотчас тебя запрут. И сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут»). Само же безумие у него понималось очень близко к подлинной вольности, ассоциировалось с ее волшебными дарами... Другое у Тютчева – брезгливое презрение, даже отвращение («безумье жалкое») и прямое «отзеркаливание» от пушкинских строк, их опровержение: «жалкое безумье» лишь мнит, что слышит струй кипенье,

Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

По мне так оба правы, но, честно скажу, «правее» для меня все же Александр Сергеевич...

Впрочем, для понимания современной психиатрии не менее интересны ее стыки с естественнонаучной сферой знания, с теориями относительности времени и пространства в математике, физике... (См., например недавно вышедшую на русском языке книгу американского психоаналитика Джона Кафки «Множественная реальность в клинической практике».)

Я убеждена: да, реальность множественна. Или, как говорит мой младший друг Сергей Михалыч, заместитель главного редактора «Новой газеты», есть реальность и есть ирреальность, но самое главное – точно знать, осознавать, в какой из них ты в каждый конкретный момент находишься.

В принципе, всем людям дана возможность или способность выхода в иное измерение (особенно – детям). И сам этот факт обнадеживает больше, чем почти прямая связь этой способности с миром психбольниц. Так сложилось: здесь и сейчас это считается (и, добавлю, является) болезнью.

То ли – крест, то ли – дар? Так ведь любой дар – он и есть крест...

В общем, припомнили мы как-то с девчонками в *курилке* рассказ Рэя Бредбери под названием «Пирамидка». Он о том, как в обществе недалекого будущего в роддоме у одной семейной пары родился ребенок, но из-за технического сбоя оборудования – не в этой, а в смежной реальности. А туточки он был представлен в виде живой пирамидки. Доктора и ученые каялись перед родителями, что так и не смогли ребенка вытащить в обычный мир, и заявили, что своей техникой могут лишь отправить в «Зазеркалье» самих родителей – безвозвратно. На что те очень обрадовались и поспешили к своему малышу – в мир, где будут полноценно жить в человеческом обличье втроем, а здесь пусть будут казаться пирамидками.

И мы фантазировали в курилке а что если вдруг «пирамидок» будет рождаться все больше (в нашем случае – душевнобольных, «детей индиго», экстрасенсов, детей с открытым «третьим» глазом, ну и прочая мистика). И тогда, кроме элементарной в экстремальных случаях медикаментозной помощи, всем будет необходимо понимание таких людей как немного иных, инаких, без чего просто невозможно будет наше сосуществование... Кто ж

знает, вдруг их со временем разведется столько, что понятия «норма» и «отклонение» поменяются местами?

Вот так мы думали с девчонками – возможно, просто утешая себя… И даже – воодушевляя.

# Оно того стоит

*21 июня 2009 г.*

Прошло полтора месяца депрессии. Вроде бы обычной, нетяжелой – ведь могла читать, даже смотреть телевизор. Но, Господи, какое же вранье в этом утверждении, в самом признании «обычности», обыденности того, с чем душа никогда не смирится.

Разница совсем небольшая – между жизнью и нежизнью. Это даже не между Бытием и Небытием, Пустотой. А – между понятиями «есть Жизнь, Бытие», и – «есть Ничто» (хотя как «Ничто» может быть, если ни в нем самом, ни вокруг ничего нет?) Тотальная бездна Ни-че-го! Совсем ничего. Я – и ничто.

Как меня тошнит собою. Рыдала после различимой в голосе доброй жалости ко мне доктора Раюшкина по телефону. Фур сказал: «Вот, изменилось состояние. Раз плачешь – скоро выйдешь из депрессии». (Так и вышло.)

...Это Ничто – все им заражено, слишком много вокруг мертвого, пустого, невыносимо больно на все это смотреть, перебирая в вещичках, сувенирах виды «смертей».

Уткнуться в детектив и головы не поднимать.

Слишком много свидетельств тщеты себя. Мертвое царство – книги, фото, рисунки. Они значимы, когда я – живая.

Мягкие игрушки – Боже, зачем мне этот фиолетовый слон? Страшит и гнетет именно то, с чем была связана особая радость.

...Жажда правды себя – может, это единственное мое достояние? То есть попросту константа. И в депрессии, и в мании...

Какая боль сквозит в рассказах моего друга психиатра Саши Морозова о пациентах: бывшем мастере спорта, бывшем докторе наук и т. д.

* * *

...Ну вот, дописываю эту главку уже в подъеме, на даче в Мамонтовке. Идет дождь. Опять вспоминаю Морозова: «Депрессия – это просто плата за возможность ярко видеть, осязать, обонять мир в подъеме». Вот как сейчас.

Ну а на Стартовой меня ждет ноутбук и Устинов в нем.

И все это вместе взятое – разве же оно того не стоит?

# ПОСЛЕСЛОВИЕ
# МОГУЩЕСТВО БЕССИЛИЯ

Я читала текст медленно, маленькими порциями. Он очень плотный, терпкий, пронзительный, иногда грустный, чаще тяжелый… Не стилем, нет. Автор пытается защитить читателя необыкновенной хрустальной легкостью слога. Защитить от той чудовищной реальности, к которой никто добровольно не хотел бы прикоснуться. И это придает повести дополнительную глубину и еще большую силу воздействия, ибо порождает также печальные мысли о себе, и желание и себя тоже пожалеть, и о себе позаботиться.

Книга Ольги Мариничевой – пронзительное свидетельство силы человеческого духа. Мы не выбираем себе судьбу, не «заказываем» задачи, которые придется нам решать в жизни. И не по задачам нам следует судить себя – а только по тому, как мы обошлись с тем, чего «не заказывали».

Как человек я испытываю большое уважение, даже более того – благоговение перед личностью автора, перед женщиной, которая может оставаться человеком в обстоятельствах, описанных ею в этой книге. Как психотерапевт я рекомендую эту книгу всем коллегам и ученикам. Как женщина средних лет я чувствую, что темы, поднятые автором, глубоко во мне отзываются, и я знаю, что они так же глубоко затронут тех, кто будет читать эту историю жизни.

Я хочу остановиться на трех темах, которые меня затронули, и попробую вступить в диалог с Ольгой Мариничевой, журналистом и педагогом, человеком, который более четверти века живет с тяжелым диагнозом.

# 1. Страх. Беспомощность и истинное могущество

«Подвиг не в сгорании. Подвиг – жить послетого, какты сгорела».

Нужно все-таки несколько слов сказать о болезни. Маниакально-депрессивный психоз – это тяжелое заболевание, человек переживает периодическое чередование спадов настроения (депрессий) и подъемов (периодов эйфории, активности и – часто – бреда). Маятник этот раскачивается с очень большой амплитудой и редко удерживается в нейтральном положении надолго. И в депрессии, и – часто – в периоды подъема нарушена нормальная способность чувствовать. Бесчувственность – самое тяжелое в этом заболевании. Но личность не нарушена. Самооценка, конечно, бывает снижена, а в целом человек в фазе депрессии остается рефлексивным, видит то, что есть, и страдает от того, что видит. И в этом страдании человек не болен. Он абсолютно реалистичен. Он оборачивается и смотрит в сторону своей болезни, осознает факт бреда и погружается в переживание Великого страха.

«Дня через полтора, уже как бы проснувшись, обнаруживаю у балконной двери горшочек с лимонным деревцем, в землю которого втиснуты мои украшения: браслетик, медальон... Но если это был всего лишь сон, то какя могла совершать вполне реальные активные действия? Жалкий осколок моего Великого Страха».

Страх делает нас одинокими, его нельзя делегировать кому-то, отдать, поручить. Даже мать не может забрать его, даже врач. Страх дает каждому почувствовать, что он – Человек и должен САМ проживать свою жизнь.

Страх появляется вместе с осознанием того, что с тобой в любой момент может случиться все, что угодно. Жизнь такова. Она принципиально не дает гарантий. Нигде. Никогда. Никому.

«И тут же обрушился на меня Великий Страх: это просто Сон. И я не осилю ни книгу, ни жизнь свою. Жуткий страх и Одиночество. Нечем жить и нечего писать».

Если быть честным и храбрым и продолжать смотреть пристально, можно увидеть, что люди больше всего боятся собственного бессилия. Не смогу контролировать, не смогу сделать, онемею, не смогу писать, потеряю все силы, просто не вынесу этого, не выдержу, «НЕ ОСИЛЮ ЖИЗНЬ СВОЮ».

У автора «Исповеди» есть образ безбрежного моря, в котором

нет ни острова, ни корабля, ни дощечки. И дна тоже нет. Нет опор, нет устойчивости, поэтому нет покоя. Такое всепоглощающее, огромное чувство выпало на долю. Это точно описывает известное в экзистенциальном анализе понятие Фундаментального страха. Он естественно и спонтанно возникает, когда человек сталкивается с тем, к чему оказался не готов, например, к тому, что жизнь бывает чудовищной. В книге Мариничевой о страхе говорится очень-очень скупо. Только о его преодолении. Я подозреваю, чтобы не напугать нас, автор не рассказывает о своем страхе, лишь изредка кое-где прорывается бездонность этого чувства.

«Ведь она всю свою жизнь, сколько себя помнит, была в воде, все плыла и плыла. И ночью, и днем,лишь изредка отдыхая, перевернувшись на спину.

Всегда, испокон веков, перед ней была эта картина: голубой небосвод, синева водной глади и, временами, – одинокая птица над головой. Интересно, думала Марина, где же эта птица спит? Ведь ни одного острова, ни одного камня так ни разу и не повстречалось. Наверное, птица, как и Марина сама, умела спать, покачиваясь на волнах… Нет, сон со всей очевидностью говорил мне: и так можно жить. И с этим… Главное – жить. Плыть».

Если просто описать переживание страха, то речь пойдет о том, что ты проваливаешься, теряешь опору, падаешь или тонешь, несешься вниз, в уходящий в глубину тоннель, в пропасть, в ничто. Это чувство сопровождают кошмарные сны. Иногда это переживание того, что ты отдан на растерзание чему-то могущественному: внешней безжалостной силе, готовой уничтожить тебя. Но еще страшнее, когда отдан навсегда собственным чувствам, собственной психодинамике, чужому в себе самом, например болезни. С этим соседствует страх невыносимости жизни: я этого не вынесу! Моя жизнь, оказывается, такая хрупкая, разуму нельзя доверять! Страх перед потерей собственных внутренних структур, страх перед мыслями и идеями, страх остаться с ними один на один. Я этого не вынесу, если такое случится. Мир меня не выдержит, мое тело такой стресс не переживет. Общество, в котором я нахожусь, исключит меня,уволит.

Два страха вместе: если я этого не выдержу, то тогда и меня это не выдержит, что и приводит к Фундаментальному страху. Этот страх самый глубокий, его содержание: все кончено. Опор нет – не на что опереться. Мир ненадежен, он не удерживает меня. По отношению ктакому страху все остальные страхи являются вторичными, производными. Так, если человек боится выступать на публике или боится замкнутых помещений, это

лишь попытка конкретизировать Фундаментальный страх, ограничить его действие. Кажется, что, избегая выступлений или замкнутых помещений, ты сможешь контролировать это ужасное чувство. Но тщетно. Как известно, не помогает.

Экзистенциальные философы говорили: если мы задумаемся о страхе, то обнаружим, что тема страха – не смерть, а уничтожение, страшно НЕ БЫТЬ, не мочь быть СОБОЙ.

Я переживаю бессилие («я не могу») и через это – меня нет, ведь само ощущение присутствия в жизни коренится в переживании: «я могу с этим (здесь) что-то сделать». То, с чем я ничего не могу сделать, просто не становится действительностью. Тогда это для меня становится нереальным. И я в этой ситуации почти не существую. И сама ситуация теряет черты реальности. Поэтому для человека так важно не быть уничтоженным через бессильное «Я не могу!». Небытие страшнее смерти. А страх дает понять, что жизнь имеет право быть такой, какая она есть.

Страх делает нас глубже. Если я живу с этим столько лет, теперь могу сказать: «Вот она какая – моя жизнь...» Я смотрю на свою жизнь, я остаюсь персональным, я несу свою «персональность», как несут олимпийский огонь: свою аутентичность, то, что я люблю, то, с чем я себя идентифицирую, все, что соответствует моей сущности. Я хотела бы это проживать до самого конца. Смерть не разрушает это существенное. Другое мы проживаем как разрушающее. Если мы не можем прожить это существенное до конца, тогда это уничтожение.

Страх раскрывает для нас истинную структуру человеческого бытия. Как это формулирует Хайдеггер, существенной особенностью жизни является то, что она непредсказуема. Ее нельзя назначить или определить. С нами могут случаться вещи, которые нам не нравятся, к которым мы не готовы. Мы отданы этому. И наша задача – не противиться какому-то факту, а посмотреть, что мы еще можем сделать, вплоть до самой вершины, когда понимаешь, что сделать больше ничего невозможно. И тогда я позволяю себе чувство: «Я больше ничего не могу сделать».

Однажды мой учитель, австрийский психотерапевт Альфрид Лэнгле так сказал своей пациентке: «До сих пор ты думала, что ты должна что-то делать, а теперь можно принять и это: "Я ничего не могу больше сделать – и это мое решение. Я принимаю решение не делать больше, чем я могу". Это означает, что я даю право себе быть здесь беспомощной. И если я это сделаю, то парадоксальным образом обнаруживаю, что это ДАТЬ – поступок, в принятии этого факта – мое "МОГУ БЫТЬ", и это мочь быть, ничего не производя, не делая – есть МОГУЩЕСТВО бессилия. Когда я могу допустить,

что больше ничего не могу сделать – это САМАЯ ВЫСОКАЯ ФОРМА МОГУЩЕСТВА ЧЕЛОВЕКА». Те, кто прошли через это, понимают, о чем речь.

Текст этой книги – про то, какого тихого, незрелищного, ежедневного мужества требует мочь жить, когда ничего нельзя сделать. Болезнь, которая неизлечима, приступы, которые неизбежны, провалы депрессии как самое глубокое «не могу», как смерть при жизни.

Сколько мужества нужно, чтобы сказать: больше я ничего не могу сделать. Но почему «ничего»? Можно писать, говорит себе Ольга. Текст для нее как опора, единственная, но надежная. Он хорошо держит и ведет за собой, позволяя скользить по своей упругой глади. Спасибо за талант сложенья слов. Можно все взять в свои руки даже в ситуации, которая столь часто и подолгу кажется абсурдной и бессмысленной. И в болезни реализовать то, что было важным в жизни…

Текст дает дистанцию. Помогает идти за страхом и заставляет печалиться, потому что происходит расставание с тем представлением о жизни, которое было намного прекрасней, чем она есть на самом деле.

## 2. Любовь и помощь

Потом началась морока с разрыванием своего ожерелья из маленьких эмалевых незабудок и одариванием ими всех...

Чувство, что я живу, люблю и страдаю, – это и есть почва, которая противостоит страху. В самой жизни есть залог моего неуничтожения, если жизнь эта действительно была прожита, я в нее со всего размаху вошла, ворвалась, впечаталась. Я в нее, а она – в меня. Впечатление от моей жизни, от любовей и встреч, от поступков и решений, от того, что я смогла сделать хорошего, правильного, защищает от тотального переживания уничтожения, защищает от страха.

Ольга Мариничева совершенно не умеет рассказывать о себе «хорошей». Но сквозь скупые строки угадывается жадное, горячее желание жить, отдавая себя другим до последней капли. Не только в коммунарском движении, в газете, в российской педагогике, но и в психиатрических больницах снова и снова она участвует в судьбах тех, кому хуже, чем ей. Сострадание и сорадование, участие полное, всей душой и всем существом, в чужой жизни, – так я вижу то, чем занимается Ольга Мариничева. Такой накал силы и серьезности интереса, который она проявляет ктем, кому помогает: и к трудному подростку, и к непонятому новатору. Желание помогать настолько подлинное, что противиться ему бессмысленно. В этом потенциале спасателя Ольгу Мариничеву отличает встречающийся очень редко удивительный талант всепоглощающего принятия всерьез других людей...

Но и в отношении к себе она хотела бы точно такого же по силе и серьезности интереса. Самые пронзительные строки этой книги – о тоске по любви, которая была бы взаимной. Огромность желания снижает до нуля вероятность встретить такую любовь в этой жизни. Только прекрасный Гарри с его чувственностью, безмерной надежностью и трепетной защитой остается в твоем распоряжении. Эта тоска по второй половинке известна психотерапевтам, всем, кто работает с проблемами партнерских отношений: каким бы счастливым ни был брак, «тоска по Гарри» (или Генриэтте, почему бы нет, у мужчин она не меньше, чем у женщин) продолжает жить в нас. Так хочется, чтобы тебя любили, сильно-сильно. Не как мама или Бог, но этой самой земной любовью, которую ты сам себе не можешь дать. Чтобы тебя кто-то хотел. Этого сам себе дать не можешь. Признание и оценку можешь,тепло и утешение – тоже. Но не чувственное желание. Поэтому Гарри вечен, и образ его, созданный Мариничевой,

замечателен в своей общечеловеческой проникновенности и понятности.

# 3. Уважение к Person

Я считаю, эту книгу должны читать профессионалы-психотерапевты. И размышлять над нею. Ольга пишет о них справедливо. О ком-то – с негодованием и сожалением, о ком-то с огромным уважением и признательностью. О многом – с удивительным юмором. Каждому – по делам его.

«Убеждена: нельзя психиатрам так однозначно судить о личной, сердечной жизни пациентов, нельзя, даже если любовь проходит в форме бреда. Ведь не мной замечено: зависимость психически больных от психиатра колоссальна, власть его над душами ничем не ограничена и ни с чем не сравнима. Психиатрам больные верят как Богу. И нельзя, нельзя, нельзя ломать любовь, даже ради спасения пациента, его возврата в реальность. Иначе в реальность возвратится убитая душа».

После Роджерса, Франкла, Бьюджентала, казалось бы, психотерапия уже не может быть неперсональной. Диагноз вторичен, первичен свет Person, обращающейся к нам из глубин нашей подлинности. У каждого человека, даже во время самой тяжелой болезни, есть часть, которая не болеет. Как ни назови ее – Бессмертная душа (образ Божий) или Person, суть ее – оставаться здоровой. Это она страдает и приходит в отчаяние оттого, что жизнь не идет, как следовало бы. А не будь ее – были бы мы как кошки, болеть болели бы, но проблем не знали. Но, увы, на деле уважение к Person не принято в нашем обществе. Редкий психотерапевт различает сквозь частокол симптомов свечение души и бережет ее. И если есть человеческое отношение, то это, увы, – пока еще вопреки тому, чему врача учили в вузе. Неперсональна жизнь наша. Ранящая тоска по уважению не сравнится даже с тоской по любви – так велика!

Ольга Мариничева обладает мужеством и чувством юмора. А еще она умна и многое любит. Коллег и детей, девочек из психушек, сестру и маму, детей, которым пишет сказки. Вряд ли найдется сила, способная отнять эту любовь – чувство, которое дает и оживляющую огромную радость, и огромную умертвляющую боль потерь.

Ценности не уходят с уходом человека, они в нашем сердце, а значит, снова можно плакать и улыбаться, вспоминая то одно, то другое. Пока я плачу – я живу, и депрессия, в конце концов, отступает...

* * *

Такие человеческие свидетельства редко встречаются. Их нужно читать, и думать над ними, и разговаривать о прочитанном, и продираться к их сути…

Реальность, представленная изнутри одной очень непростой жизни, бесценна. Собственно, никакой другой реальности и не бывает…

*Светлана Кривцова,*
*экзистенциальный аналитик,*
*психотерапевт*

**notes**

# Примечания

# 1

Не так ли? *(франц.)*

# 2

В те годы еще был обычай вывешивать свежий номер газеты на стендах на улицах и площадях.